

И
Л

И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Витольд
Гомбрович

Преднамеренное убийство

Витольд Гомбрович · Преднамеренное убийство





И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Witold Gombrowicz

Bakakaj

Витольд Гомбрович

Преднамеренное убийство

Рассказы

Перевод с польского

Москва
«Известия»
1991

И (Пол)
Г 64

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор И. Кивель

Рецензент В. Хорев

Обложка художника А. Махова

Г $\frac{4703010100-005}{074(02)-91}$ 128-91

ISBN 5-206-00225-9

© Оформление, составление издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1991

От редакции

Творчество польского писателя Витольда Гомбровича, давно получившее всемирное признание, к сожалению, совершенно незнакомо советскому читателю. Восполнить этот пробел и призван сборник рассказов «Преднамеренное убийство». Широко известна драматургия Гомбровича: его пьесы идут на сценах театров многих стран. Проза писателя переведена более чем на двадцать языков. Сотни исследований его творчества написаны во Франции, США, Швейцарии, Дании, ФРГ, Югославии и, разумеется, в Польше. Хотя на родине к Гомбровичу относились с некоторым предубеждением и нередко его произведения появлялись в Польше позже, чем в других странах. Война застала Гомбровича в Аргентине, где он оставался долгие годы, а с 1964 года и до самой смерти жил во Франции. Его личная и творческая позиция всегда отличалась независимостью. К тому же творчество писателя с трудом укладывается в привычные эстетические рамки.

Рассказы, вошедшие в сборник «Преднамеренное убийство», написаны в разные годы. Семь из них входили в его дебютный сборник «Дневник времен возмужания» (1933), а три: «На черной лестнице», «Крыса» и «Банкет» — напечатаны в 1937—1938 годах. В немалой степени именно поэтому рассказы сильно отличаются друг от друга. Диапазон чрезвычайно широк: от чисто пародийного «Преднамеренного убийства» до символических «Крысы» и «Банкета». Однако все они объединены характерной для писателя абсурдистской манерой повествования, основанной на литературной игре и изощренной технике письма. Гомбрович старается раскрыть за внешней манерой поведения своих марионеточных героев совершенно определенную общественную позицию. «Незрелый герой» (термин самого Гомбровича) против всеобщего конформизма — вот основная формула этих рассказов. Писатель высмеивает ложные стереотипы поведения и мышления, дутые авторитеты, стандартизацию в материальной и духовной жизни. Однако он всерьез относится к миссии человека: жить на этой земле.

Плясун адвоката Крайковского

Уже в тридцать четвертый раз отправился я в оперетку на «Королеву чардаша», а поскольку было поздновато, миновав очередь, проследовал прямо к кассе:

— Дорогая, быстренько, мне, как всегда, на галерку, — но тут кто-то ухватил меня сзади за шиворот, бесстрастно, да-да, бесстрастно, оттащил от окошечка и поставил, как говорится, на место, то есть в хвост очереди. Сердце у меня заколотилось бешено, дыхание перехватило — разве это не убийственно, если вас вдруг хватают за шиворот на глазах у почтенной публики? Но я все же оглянулся: это был высокий, холеный, благоухающий господин с подстриженными усиками. Беседуя с двумя элегантными дамами и еще одним господином, он разглядывал только что купленные билеты.

Все смотрели на меня, и я вынужден был что-то сказать.

— Так это вы были столь любезны? — спросил я, может быть, и с иронией, может быть, даже с угрозой, но — поскольку я вдруг ощутил слабость — слишком тихо.

— А? — переспросил тот, наклоняясь ко мне.

— Это вы были столь любезны? — повторил я, но опять слишком тихо.

— А, да, это я, я был столь любезен! Туда, туда — в хвост. Порядок, Европа! — И, повернувшись к дамам, он пояснил: — Приходится учить, неустанно учить, иначе мы навечно останемся нацией зулусов.

Вокруг глаза, глаза, физиономии всякие — сердце у меня колотилось, голос пропал, я направился к выходу, но в последнюю минуту (о, будь благословенна эта минута!) что-то мне стукнуло в голову, и я вернулся. Стал в хвост, купил билет и успел как раз к первым тактам увертюры, но на этот раз не погрузился, как обычно, с головой в спектакль. В то время как Королева чардаша пела, шелкая кастаньетами,

изгибаясь всем телом и вздымая грудь, а элегантные юноши со стоячими воротничками и в цилиндрах дефилировали цепочкой под ее поднятой рукой, я, глядя на маячившую в первых рядах партера голову с напояженными белокурыми волосами, повторял: «Ах, значит, так!»

В первом же антракте я спустился вниз, непринужденно облокотился о барьер оркестровой ямы и немного подождал. Затем поклонился. Он не ответил. Тогда я отвесил еще один поклон, потом начал разглядывать ложи и снова поклонился, улучив подходящий момент. Когда я вернулся наверх, меня трясло, я чувствовал себя измочаленным.

Выйдя из театра, я остановился на тротуаре. Вскоре показался он — попрощался с одной из дам и с ее мужем: «До свидания, дорогие друзья, но завтра непременно — очень прошу! — ровно в десять, в «Полонии», честь имею», усадил другую даму в такси и хотел уже сесть сам, как подхожу я.

— Простите за навязчивость, но не будете ли вы так любезны немного подвезти меня, обожаю быструю езду.

— Пожалуйста, отстаньте от меня! — закричал он.

— Может быть, вы меня поддержите, — спокойно обратился я к шоферу — я был чрезвычайно спокоен. — Обожаю... — но машина уже тронулась. Хотя у меня лишних денег не водится, едва хватает на самое необходимое, я вскочил в такси и велел ехать за ними.

— Простите, — обратился я к дворнику коричневого четырехэтажного дома, — ведь это инженер Дзюбинский вошел сюда минуту назад?

— Да какой там, — отвечал тот, — это адвокат Крайковский с женой.

Я вернулся домой. И в ту ночь не смог заснуть — сотни раз переживал я мысленно все, что произошло в театре: и мои поклоны, и отъезд адвоката, вертелся с боку на бок в состоянии крайнего возбуждения и повышенной жажды деятельности, которые не позволяли заснуть, но вследствие упорного кружения мысли на месте являлись как бы своеобразным сном наяву.

На другой день с утра я послал роскошный букет роз на дом адвокату Крайковскому. Напротив дома, в котором он жил, находилась маленькая молочная с верандой — я проси-

дел там все утро и наконец около трех увидел его: в элегантном сером костюме, с тросточкой. Ах, ах — он шел и насвистывал, помахивая тросточкой... Я тотчас же заплатил по счету и побежал за ним, и, восхищаясь гибкими движениями его спины, я наслаждался тем, что он ни о чем не догадывался, что все остается моей сокровенной тайной. За ним тянулся шлейф парфюмерных ароматов, он благоухал — нельзя было и представить, что можно пойти на какое-то сближение с ним. Но и тут нашелся выход! Я решил: если он свернет налево — куплю себе томик «Приключений» Лондона, о котором давно мечтаю, а если направо, никогда уже мне не обладать им, никогда, хоть бы и даром достался, не прочитаю я в нем ни одной странички! Никогда, ни одной! О, я часами мог бы любоваться тем местом на его затылке, где идеально ровной линией кончаются волосы и начинается белоснежная шея. Он свернул налево. В иных обстоятельствах я немедленно помчался бы в книжную лавку, но сейчас я продолжал следовать за ним и только испытывал к нему чувство невыразимой благодарности.

Впереди я увидел цветочницу, и мной завладела новая идея: ведь я могу сейчас же, немедленно — это в моей власти — выразить ему свое восхищение, оказать честь самым деликатным образом, так, что он, может, этого и не заметит. Но что с того, что не заметит? Так даже еще изысканней: выразить ему почтение втайне от него. Я купил букетик, обогнал адвоката — как только я попал в поле его зрения, ровный, безразличный шаг мне уже плохо удавался — и незаметно бросил ему под ноги несколько скромных фиалок. И тут я неожиданно оказался в престранной ситуации: я шагнул все дальше и дальше и не знал, идет ли он за мной, или может быть, свернул, или вошел в подъезд, и не в силах был оглянуться — и не оглянулся бы, даже если бы от этого зависело... не знаю что, все что угодно, а когда я пересилил себя, сделал вид, что уронил шляпу, и повернулся — его уже позади не оказалось.

До вечера я жил лишь мыслью о «Полонии».

Сразу же за ними я вошел в роскошный зал и уселся за соседний столик. Я предвидел, что это будет дорого мне стоить, но в конце концов (думал я) все равно, может, я не проживу больше года, так зачем экономить? Меня сразу же

заметили; дамы были настолько бестактны, что начали шептаться, он же, напротив, не обманул моих ожиданий. Он не одарил меня и тенью внимания — любезничая, наклонялся к дамам или вертел головой, разглядывая других женщин. Неторопливо, смакуя, вслух читал меню:

— Закуски, икра... майонез... пулярка... Ананас на десерт, черный кофе, бургундское, шабли, коньяк и ликеры.

Затем распорядился:

— Икра — майонез — пулярка — на десерт ананас — черный кофе, шабли, коньяк и ликеры.

Продолжалось это долго. Адвокат ел много, особенно налегал на пулярку — должно быть, заставлял себя, — по правде говоря, я думал, что не одолеет, и с тревогой следил — неужели положит себе еще? А он все накладывал и накладывал, ел с аппетитом, большими кусками, ел без зазрения совести, запивая вином, так что в конце концов это стало для меня настоящей пыткой. Мне кажется, теперь я уже никогда не смогу даже посмотреть на пулярку, не смогу проглотить и капли майонеза, разве что — разве что мы снова когда-нибудь пойдем вместе в ресторан, это дело другое, тогда — я уверен в этом, — тогда уж я выдержу. Я тоже выпил изрядно, даже голова немного закружилась. В зеркале отражалась его фигура. Как изящно он наклонялся! Как ловко и искусно колдовал над коктейлем! Как элегантно, с зубочисткой в зубах, шутил! Замаскированная лысина на затылке, холеные руки с перстнем на пальце, низкий — баритон — мягкий, бархатный голос! Адвокатша ничем не выделялась, она была, можно сказать, так себе, зато докторша! Я сразу заметил — когда он обращался к докторше, голос его приобрел особую мягкость и бархатистость. Ах так! Все ясно! Докторша была будто создана для него — стройная, гибкая, изящная, ленивая кошка с милыми женскими причудами. А в его устах слово «коготки» звучало превосходно, чувствовалось, что любит, знает толк. Коготки, бабенка, кутеж, гуляка, повеса, кутила — ха, ха, ну и кутила наш дорогой доктор! И — «прошу вас», ах, это «прошу вас», такое выразительное и неотразимое, такое культурное, не терпящее возражений, этакая заключенная в двух словах хроника всевозможных побед. И ногти у него были розовые, особенно один, на мизинце.

Только около двух ночи вернулся я домой и прямо в одеж-

де плюхнулся на кровать. Я был перенасыщен, переполнен, раздавлен, меня мучила икота, в голове шумело, а изысканные блюда распирали желудок. Оргия! Оргия, пир, кутеж! «Ночь в ресторане,— шептал я,— ночной кутеж! Первый раз — ночной кутеж! Благодаря ему — и ради него!»

С тех пор я ежедневно усаживался на веранде молочной, поджидая адвоката, и следовал за ним, когда он появлялся. Кто-нибудь другой, может, и не стал бы жертвовать по шесть, по семь часов на ожидание. Но у меня была куча времени. Болезнь, эпилепсия, являлась моим единственным занятием, да и то занятием парадным, не таким уж частым в веренице будней, никакие обязанности меня не тяготили, и я располагал массой свободного времени. Меня не отвлекали, как других, родственники, знакомые и друзья, женщины и танцы; кроме одного-единственного танца, пляски св. Валенсия *, не знал я ни танцев, ни женщин. Скромный доходик вполне покрывал мои потребности, да к тому же имелись данные, что мой истощенный организм долго не выдержит, зачем же мне было экономить? С утра до вечера — свободный, незанятый день, как бы непрерывный праздник, время в неограниченном количестве, я — султан, минуты — гурии.

Ах, поскорее бы наконец пришла она — смерть!

Адвокат оказался сластеной, и мне трудно выразить, как это было прекрасно; каждый раз, возвращаясь из суда домой, он заходил в кондитерскую и съедал два наполеона — я подсматривал сквозь витрину, как он, стоя у буфета, осторожно отправлял их в рот, стараясь не вымазаться кремом, а потом изящно облизывал пальцы либо обтирал бумажной салфеткой. Я долго не решался, но как-то раз наконец вошел в кондитерскую.

— Вы знаете адвоката Крайковского? Он у вас съедает каждый день два наполеона. Верно? Так вот, я плачу за пирожные на месяц вперед. Когда он явится, не берите с него, пожалуйста, денег, а только улыбнитесь: «Уже заплачено». Тут ничего такого нет, просто, видите ли, я проиграл пари.

На другой день он пришел, как всегда, съел свои пирожные и хотел заплатить, но деньги у него не взяли. Он рассвирепел

* Святой Валенсий — покровитель больных эпилепсией. (Здесь и далее — прим. перев.)

и бросил деньги в благотворительную кружку. Да мне-то что? Пустая формальность — пусть себе жертвует сколько угодно в пользу детей-сирот, это не изменит того факта, что он съел два моих наполеона. Однако я не стану описывать всего, потому что, в конце концов, возможно ли описать все? Море событий — с утра и до вечера, а частенько и ночью. Случались и нелепые минуты — однажды, например, мы уселись друг против друга в трамвае, лицом к лицу; и приятные — когда мне удавалось оказать ему какую-нибудь услугу, а иной раз и смешные. Смешно, приятно, нелепо? Да, ничего нет более сложного и тонкого, даже святого, чем человеческая личность, ничто не сравнится с бездонной глубиной таинственных связей, которые возникают между чужими, — хрупкие и эфемерные, они незаметно связывают уродливыми узами. Представьте себе адвоката, который выходит из общественного туалета, сует руку в карман за монетой и узнает, что счет уже оплачен. Что он в тот момент испытывает? Представьте, как он на каждом шагу наталкивается на признаки культа, на поклонение и преданность своей особе, на верность и железное чувство долга, на самозабвенность. Но докторша! Меня мучило ужасное поведение докторши. Неужели ей ни о чем не говорят его заигрывания, неужели зубочистка и коктейль в «Полонии» не производили на нее никакого впечатления? Скорее всего, она не соглашается — как-то раз я заметил, что он вышел от нее взбешенный, со сбившимся набок галстуком... Ну что за женщина?! Что же сделать, как ее склонить, как убедить, чтобы она наконец все поняла так же глубоко, как понимаю я, чтобы почувствовала? После долгих колебаний я решил, что лучшее средство — анонимное письмо.

«Сударыня!

Разве так можно? Ваше поведение непонятно, нет, Вы не должны себя так вести! Неужели Вы останетесь равнодушны к этим формам, жестам, модуляциям, к этому аромату? Вы не способны оценить совершенство? Почему Вы тогда называетесь женщиной? Уж я бы на Вашем месте знал, в чем мой долг, если бы он только соизволил поманить пальцем мое маленькое, жалкое, неуклюжее женское тельце».

Через несколько дней адвокат Крайковский (это происхо-

дило на пустынной улице, поздно вечером) остановился, повернулся и поджидал меня с тростью. Отступить было некуда — я продолжал идти вперед, хотя по телу разлилась какая-то слабость, пока он не схватил меня за плечо, встряхнул и стал колотить тростью по земле.

— Что означают ваши идиотские пасквили? Что вы прицепились? — кричал он. — Чего вы таскаетесь за мной? В чем дело? Я вас изобью! Вот этой палкой! Все кости переломаю!

Я онемел. Я был счастлив. Я впитывал в себя все это, как сырое причастие, и закрыл глаза. И так же молча — наклонился и подставил спину. Я ждал — и пережил несколько великолепных минут, которые могут быть дарованы только тому, у кого и в самом деле немного осталось дней впереди. Когда я выпрямился, он торопливо уходил, постукивая тростью. С сердцем, преисполненным мира и благодати, возвращался я пустынными улицами. «Мало, — думал я, — слишком мало! Слишком мало! Надо еще — еще больше!»

И к благодарности примешалось раскаяние. Конечно! Она восприняла мое письмо как жалкие пустые фразы, как глупую шутку и показала его адвокату. Вместо того чтобы помочь, я помешал, а все оттого, что я слишком ленив и избалован, слишком мало выкладываюсь, слишком мало проявляю серьезности и ответственности, не умею пробудить сочувствие!

«Сударыня!

Чтобы открыть Вам глаза, чтобы разбудить Вашу совесть, заявляю, что отныне я буду подвергать себя различным самоистязаниям (пост и т. п.) до тех пор, пока это не произойдет. Как Вам не стыдно? Какие слова я должен найти, чтобы растолковать Вам, что такое неизбежность и долг? Собачий долг? Сколько же еще это будет продолжаться? Что означает Ваше упорство? Откуда такая гордыня?»

А на другой день, вспомнив важную деталь, я написал:

«Духи — только «Виолетта». Он их обожает».

С тех пор адвокат перестал навещать докторшу. Я терзался, не спал ночами. Я не наивный человек. Я прекрасно

ориентируюсь в самых разных вопросах, чего никто во мне не заподозрил бы,— я, например, понимаю, какое впечатление может произвести мое письмо на такую светскую и суетную особу, как докторша. Я способен даже в момент наивысшего воодушевления исподтишка улыбнуться, но что с того? Разве это делало мои муки менее острыми, а страдания, которые я сам себе причинял, менее болезненными? Или мое возмущение — менее глубоким? Почитание адвоката — менее искренним? О нет! Тогда что же важно? Жизнь, здоровье? Да, я могу присягнуть, что с такой же тайной улыбочкой я отдал бы и жизнь, и здоровье за то, чтобы она... чтобы она удовлетворила его желания. А может, эта женщина испытывает этические угрызения совести? Что такое дурацкая этика по сравнению с адвокатом Крайковским? На всякий случай я решил успокоить ее и в этом отношении.

«Вы — обязаны! Доктор — нуль, воздух».

Но то была не этика, то была просто спесь, грубо говоря, бессмысленные капризы самки и полное непонимание священных элементарных вопросов. Я прохаживался перед ее окнами — что там происходило за опущенными шторами (вставала она поздно), в какой она стадии находилась? Женщины слишком поверхностны! Я пробовал магнетизм. «Ты должна, ты должна, — повторял я упорно, уставившись в окно, — еще сегодня, сегодня вечером, если мужа не будет дома». Тут я вдруг вспомнил, что адвокат хотел меня поколотить, что если тогда на улице он не сделал этого, то, может быть, лишь из-за недостатка времени? Все бросаю и мчусь к суду, откуда, как я знаю, он выйдет с минуты на минуту. Действительно, он выходит через несколько минут, с ним два господина — я подхожу и молча подставляю спину.

Оба господина застывают в изумлении, но меня это не заботит: да хоть бы и весь мир! Я закрываю глаза, сутулю плечи и доверчиво жду, но ничего на меня не обрушивается. Наконец бормочу, заикаясь, склонившись чуть ли не к плитам тротуара:

— Может, сейчас! Всегда, всегда, всегда...

— Какой-то идиот, — плывет надо мной его голос. — Что

за рассеянность — совсем забыл, ведь у меня конференция! Поговорим в другой раз, прощайте, господа, вот тебе монетка, любезный! Честь имею!

И он поспешно сел в такси. Ах, эти такси! Один из господ полез было в карман. Я остановил его движением руки.

— Я не нищий и не идиот. Я порядочный человек и милостыню принимаю только от адвоката Крайковского.

Я составил программу гипноза, постоянного, последовательного давления с помощью тысячи мелких фактов, мистических знаков, которые, не проникая в сознание, родили бы в подсознании ощущение неизбежности. Я рисовал мелом на стене дома, в котором она жила, стрелку и большое К. Не буду рассказывать обо всех моих интригах, более или менее хитроумных, скажу лишь, что докторша была опутана сетью странных событий. Приказчик в магазине мод обращался к ней, будто по ошибке, «госпожа адвокатша». Дворник, встретив ее на лестнице, сообщал, что судья Краевский... интересовался, доставлен ли зонтик. Краевский — Крайковский, судья — адвокат, надо быть осторожным, капля камень точит. Неизвестно, каким чудом приносила она из города на платье запах адвоката, его оживший парфюмерный запах фиалкового мыла и одеколona. Или, к примеру, такой случай: поздно ночью звонит телефон — она вскакивает, сонная, бежит и слышит незнакомый повелительный голос: «Немедленно!» — и больше ничего. Или в дверь воткнута записка, а в ней только обрывок стиха: «Ты знаешь ли *край*, где зреют лимоны?»

Но постепенно я терял надежду. Адвокат перестал у нее бывать, казалось, все мои усилия напрасны. Я уже предвидел момент окончательной капитуляции и боялся: чувствовал, что не смогу с этим согласиться. Достоинству адвоката был бы нанесен непоправимый урон — нет, этого я бы не перенес, пусть даже ему самому наплевать на это. Для меня это явилось бы крайней несправедливостью, я был бы окончательно унижен и опозорен — да, окончательно, это я хорошо сказал. Я не мог поверить и все же дрожал в ожидании неотвратимо приближающегося конца.

И действительно... Однако есть все-таки на свете справедливости! Ах, как же они оказались изобретательны — нет, я все же был обижен на адвоката: ну зачем же он так прятал-

ся, таился, разве он не знал, что я страдаю? Случай? О нет, это был не случай, скорее — сердце! Вечером возвращался я Аллеями домой — и вдруг будто меня что-то толкнуло, и я свернул в парк. Собственно, я собирался лечь пораньше, поскольку с утра надо было еще успеть прибить к двери адвоката позолоченную табличку с надписью АДВОКАТ КРАЙКОВСКИЙ, но что-то словно толкнуло меня: в парк. Я вошел — и в самом конце, за прудом, увидел... ах, ах! — увидел ее большую шляпу и его котелок. Ах вы паршивцы, пакостники, негодники, ах вы шельмы! Значит, в то время как я мучился, вы тут встречались втайне от меня — и так ловко! Должно быть, воспользовались такси! Они свернули в боковую аллею и уселись на скамью. Я притаился в кустах. Ни на что не надеялся, ни о чем не думал — не хотел ничего знать, просто съезжился под кустом и быстро считал листья, без всяких мыслей, словно меня вовсе не было.

И вдруг адвокат обнял ее, прижал к себе и зашептал: — Здесь — природа... Ты слышишь? Соловей. Сейчас, скорее, пока он поет... Будем ему вторить, в такт соловьиной песне... Умоляю!

И затем... ах, это было нечто космическое, я не выдержал — будто все силы мира сшиблись во мне в священном бешенстве, словно чудовищный разряд, электрический разряд пронзил мой позвоночник, мощно сотряс весь мой организм, словно жертвенное пламя охватило все мое существо, я сорвался с места и заорал во весь голос, на весь парк:

— Адвокат Крайковский ее!.. Адвокат Крайковский ее!.. Адвокат Крайковский ее!..

Поднялся переполох. Кто-то бежал, кто-то убегал, люди появились сразу со всех сторон, а меня скрутило раз, другой, третий, сшибло с ног, и я заплясал, как никогда, с пеной у рта, в судорогах и конвульсиях — вакхическую пляску. Что произошло потом — не помню. Очнулся я в больнице.

Я чувствую себя все хуже. После всех переживаний я вконец обессилел. Адвокат Крайковский выезжает завтра втайне от меня (но я знаю) в маленькую горную деревушку в Восточных Карпатах. Он хочет затеряться в горах на пару недель и надеется, что я обо всем забуду. За ним! Да, за ним! За моей путеводной звездой! Но вот вопрос, вернусь ли я жи-

вым из этого путешествия, слишком много волнений. Ведь я могу неожиданно умереть прямо на улице, под забором, а на этот случай надо приготовить записку: пусть мой труп отправят по адресу адвоката Крайковского.

Записки Стефана Чарнецкого

1

Я родился и вырос в весьма distinguished семействе. С волнением обращаю свои мысли к тебе — мое детство! Я вижу отца, красивого мужчину с величественной осанкой, с лицом, в котором все: взгляд, черты, седоватые волосы — недвусмысленно указывало на его принадлежность к благородной расе безукоризненной чистоты. Вижу и тебя, мама, одетую в безупречно черное, не иначе как с парой старинных брильянтов в ушах. Вижу и себя, маленького, серьезного, смышленного мальчонку, и хочется плакать о своих утраченных надеждах.

Единственным, быть может, изъяном в нашей семейной жизни было то, что отец ненавидел мать. Ненавидел — неудачно сказано, скорее, терпеть не мог, а почему — он никогда не мог объяснить, и тут уже начинается тайна, ядовитые пары которой привели меня в зрелом возрасте к моральной катастрофе. Ибо кто я такой нынче? Прощелыга или лучше сказать — нравственный банкрот. Что я, например, делаю? Целуя даме руку, я обязательно ее обслюнявлю, после чего быстро достаю носовой платок: ах, простите, говорю, и вытираю платком.

Очень рано я стал замечать, что отец, как огня, избегает прикосновения матери. Больше того, избегает ее взгляда и, разговаривая с ней, чаще всего смотрит в сторону или изучает свои ногти. Можно сказать, нет ничего печальнее, чем этот ускользающий взгляд отца. Иногда он смотрел на нее искоса, с выражением безмерной брезгливости на лице. Мне это было непонятно, поскольку я не питал к матери ни малейшей антипатии, напротив, хоть ее седалище и расплывалось чрезмерно на все стороны, я любил прижиматься к ее коленям и класть на них голову.

Как же, однако, при таких обстоятельствах объяснить

факт моего существования, каким образом я появился на свет? Мне думается, создан я был в некоторой степени через силу, со стиснутыми зубами, вопреки естественным рефлексам, словом, я допускаю, что мой отец какое-то время во имя супружеского долга героически преодолевал отвращение (свою мужскую честь он ставил превыше всего) и что плодом его героических усилий и явился я — малое дитя.

После этого сверхчеловеческого, по всей видимости, одно-разового усилия отвращение его вспыхнуло со стихийной неудержимостью. Однажды я подслушал, как он кричал на мать, ломая пальцы в суставах:

— Ты лысеешь! Скоро ты станешь лысой как колено! Лысая женщина — ты понимаешь, что это для меня такое — лысая женщина! Женская лысина... парик... нет, я этого не вынесу!

И спокойно добавил тихим голосом, исполненным муки:

— Ах, как ты безобразна. Ты даже не можешь представить, насколько ты безобразна. В конце концов, лысина — это деталь, нос — тоже, та или другая деталь может оказаться безобразной, это случается и в арийской расе. Но ты безобразна в целом, ты пропитана мерзостью с ног до головы, ты воплощение мерзости... Будь у тебя хоть одно местечко свободно от первичного элемента мерзости, у меня по крайней мере была бы какая-то точка опоры, какая-то основа, и, клянусь, я бы сконцентрировал на ней все чувства, в которых клялся тебе перед алтарем. Ах, Боже мой!

Все это было выше моего понимания. Чем же лысина матери хуже лысины отца? А зубы у матери были даже лучше, среди них выделялся белый клык с золотой пломбой... И почему мать, со своей стороны, не только не питала к отцу отвращения, но, напротив, любила ласкать его — при гостях, конечно, ибо только тогда отец не вздрагивал от ее прикосновения. Мать моя полна была величия. До сих пор вижу ее патронессой на благотворительном базаре, либо на званом обеде, либо священнодействующей на вечерней службе говенья в домашней часовне.

Благочестие моей матери не имело себе равных; это было не просто рвение, а безумная ненасытность — ненасытность к посту, к молитве, к добродетельным поступкам. В обитой черным крепом часовне в определенный час появлялись мы:

я, лакей, повар, горничная и дворник, одетые в черное. После молитвы начиналось учение.

— Грех! Мерзость! — говорила мать с пафосом, и подбородок у нее колыхался и трясся, словно яичный желток. Может, я отзываюсь о дорогих теньях с недостаточным почтением? Жизнь научила меня такому языку, языку тайны... Но не будем опережать события.

Иногда мать вызывала меня, повара, лакея, сторожа и горничную в неурочный час.

— Молись, несчастный ребенок, за душу этого чудовища — твоего отца, молитесь и вы за душу своего господина, продавшего дьяволу!

Не раз до четырех, до пяти утра пели мы литании под ее руководством, пока не открывалась дверь и не показывался отец во фраке или в смокинге, и выражение величайшей брезгливости отражалось на его лице.

— На колени! — кричала мать, направляясь к нему колышущейся, волнуемой походкой и энергично указывая пальцем на изображение Христа.

— Марш спать, в постели! — приказывал слугам отец по-барски.

— Это моя прислуга! — возражала мать, и отец быстро выходил под аккомпанемент наших молитвенных причитаний пред алтарем.

Что это означало, и почему мать говорила: «Нечисты дела его» — почему она испытывала отвращение к поступкам отца, а отец, повторяю, испытывал отвращение к матери? Невинный ум ребенка пасовал перед этими загадками.

— Развратник! — говорила мать. — Помните — мириться нельзя! Кто при виде греха не кричит от омерзения, тот пусть привяжет себе на шею жернов! Нельзя без конца гнушаться, презирать и ненавидеть! Клялся, а теперь гнушается! Клялся не гнушаться! Адское пламя! Он мною гнушается, но и я им гнушаюсь! Придет день Страшного суда! На том свете посмотрим, кто из нас лучше! Нос! Дух! У духа нет ни носа, ни лысины, и пылкая вера отворяет врата будущих райских наслаждений. Придет время, когда твой отец, корчась в муках, будет умолять меня, сидящую по правую руку от Иеговы (я хотела сказать, от Господа Бога), чтобы я дала ему поли-

зять свой увлажненный палец. Посмотрим, будет ли он тогда гнущаться!

Вообще-то отец тоже был набожным и регулярно ходил в церковь, но никогда — в нашу домашнюю часовню. Не раз, безукоризненно изысканный, он говорил, аристократически щуря глаза:

— Поверь мне, дорогая, это бестактно с твоей стороны, ты перед алтарем, с твоим носом и ушами, с твоими губами — я уверен, что и Христос чувствует себя неловко. Разумеется, я не отказываю тебе в праве на благочестие, — добавлял он, — напротив, с религиозной точки зрения неофитка — это прекрасно, и все же ничего не поделаешь: природу умиловить невозможно. Вспомни французскую поговорку: «Dieu pardonnera, les hommes oublieront, mais le nez restera» *.

А я подрастал. Время от времени отец сажал меня на колени и подолгу с тревогой изучал мое лицо. Я слышал, как он шептал:

— Нос, как и до сих пор, мой. Слава Богу! Но вот глаза... и уши... несчастный ребенок! — Его благородные черты искажались болью. — Он будет ужасно страдать, когда в нем проснется сознание, и я не удивлюсь, если в нем произойдет тогда нечто вроде внутреннего погрома.

О каком сознании он говорил и о каком погроме? И вообще — какой масти должна быть крыса, рожденная от черного самца и белой самки? Пятнистая? Или, может, если оба противоположных цвета обладают абсолютно равной силой, из такого сочетания получается крыса без окраски, без цвета?.. Но кажется, я опять нетерпеливыми отступлениями опережаю события.

2

В школе я был прилежным и образцовым учеником и тем не менее не пользовался всеобщей симпатией. Помню, как впервые предстал я перед директором, послушный и пылкий,

* Бог простит, люди забудут, а нос останется (*франц.*).

полный благих намерений и усердия, что всегда было присуще моей натуре, и директор ласково взял меня за подбородок. Я полагал, что чем лучше буду вести себя, тем легче заслужу расположение учителей и товарищей. Мои благие намерения, однако, разбивались о непроницаемую стену тайны. Какой тайны? Ха! Я не знал — и сейчас, собственно, не знаю, — только чувствовал, что окружен со всех сторон чуждой мне, враждебной и вместе с тем торжественной тайной, которую я не в силах постичь. Разве не торжественна и не таинственна такая, скажем, считалочка: «Раз, два, три — все евреи псы, а веселые поляки — наши храбрые рубаки, и выходишь ты!» — которую выкрикивали мы с товарищами, играя на школьном дворе? Я чувствовал ее торжественность — и декламировал с наслаждением и воодушевлением, но в чем именно ее торжественность, я понять не мог, и мне казалось даже, что я вообще никому не нужен, что лучше мне стать в сторонке и только наблюдать за игрой. Я пытался взять усердием и послушанием, но на мои усердие и послушание отвечали антипатией не только ученики, но — что более удивительно и несправедливо — и учителя.

Помню также:

Ты кто? — Я юный поляк.

Твой флаг? — Белый орел — мой знак.

И помню моего незабвенного учителя истории и отечественной литературы — тихого, пожалуй, даже вялого, никогда не повышающего голоса.

— Господа, — говорил он, кашляя в большой фуляровый платок или ковыряя пальцем в ухе, — какой еще народ являлся мессией народов? Оплотом христианства? Кто еще дал миру князя Юзефа Понятовского? А если вспомнить о количестве гениев, первооткрывателей, то у нас их столько же, сколько во всей Европе. — И внезапно начинал: — Данте?

— Я знаю, господин учитель! — вскакивал я тотчас же. — Красинский!

— Мольер?

— Фредро!

— Ньютон?

— Коперник!

— Бетховен?

- Шопен!
- Бах?
- Моношкo!

— Ну вот, сами видите,— завершал он.— Язык наш сто- крат богаче французского, который почему-то считается самым совершенным. Что французы? Petit, petiot, très pe- tit * — это предел. А у нас — какое богатство: малый, ма- ленький, махонький, малюсенький, маленьюсенький, малюпу- сенький, малюлюсенький и так далее.

Несмотря на то что я отвечал лучше всех и быстрее всех, он не любил меня — почему? Я не знал, но однажды он из- рек, покашливая, странным, многозначительным и фа- милиярным тоном:

— Поляки, господа, всегда были ленивы, потому что лень неотлучно идет в паре с большими способностями. Поляки — талантливы, но ленивы, шельмы. Поляки — удивительно симпатичный народ.

С тех пор мой пыл к наукам поуогас, но и этим я не снискал расположения моего педагога, хотя обычно он питал сла- бость к лентяям и сорванцам.

Иногда он закрывал один глаз, и тогда все в классе насто- раживались.

— Ну-с, — говорил он.— Весна, а? Кровь играет, на лу- жок тянет, в лесок? Все мы, поляки, повесы этакие, как го- ворится, бычки бодливые. На месте усидеть на можем, хо, хо... шведки, датчанки, француженки и немки убиваются из-за нас, но мы предпочитаем наших полячек, ведь их кра- сота славится на весь мир.

Его речи так на меня подействовали, что я влюбился в юную барышню, с которой мы на одной скамейке в Ладен- ковском парке готовили уроки. Я долго не знал, с чего на- чать, а когда, наконец, спросил: — Вы разрешите?.. — она да- же не ответила. Однако на другой день, посоветовавшись с одноклассниками, я сосредоточился и ущипнул ее, и она тотчас зажмурила глазки и захихикала...

Получилось! Я возвращался торжествующий, веселый и уверенный в себе, но вместе с тем странно обеспокоенный не- понятным для меня хихиканьем и зажмуриваньем глазок.

* Маленький, малюсенький, махонький (франц.).

— Знаете что? — заявил я на школьном дворе. — Я тоже бодливый бычок, повеса, юный поляк, жаль, что вы не могли посмотреть на меня вчера в парке, увидели бы кое-что интересное... — И все им рассказал.

— Дурак! — сказали они, но впервые выслушали меня с интересом. Вдруг кто-то закричал: — Лягушка!

— Где? Что? Бей жабу! — Все набросились на лягушку, и я вместе с ними. Мы хлестали ее прутьями, пока она не издохла. Разгоряченный и гордый тем, что меня допустили к одной из самых экзотических забав, и видя в этом начало новой эры в своей жизни, я закричал: — Смотрите — ласточка! Ласточка залетела в класс и бьется в окно — подождите...

Я принес ласточку, а чтобы она не упорхнула, сломал ей крыло — и снова схватился за прут. Все обступили нас.

— Бедняжка, — раздались голоса, — бедная птичка, дайте ей хлеба и молока. — Когда же они увидели, что я замахнулся прутом, один из них, Павельский, прищурился, так что кожа на скулах побелела, и пребольно съездил мне по физиономии.

— Получил по морде! — закричали вокруг. — Где же твоя честь, Чарнецкий! Не сдавайся, дай сдачи, влепи ему!

— Как же я могу, — отвечал я, — ведь я слабее. Если я дам ему сдачи, получу еще раз и буду обесчещен дважды.

Тогда все бросились на меня и избили, не скупясь на издевательства и злобные насмешки.

Любовь! — какая волшебная и непостижимая бессмыслица: ущипнуть, прижать или даже задушить в объятиях — какое богатство содержания! Ну-ну... Сегодня-то я знаю, что к чему, я усматриваю в любви таинственное сходство с войной, ведь и на войне, собственно говоря, речь идет о том, чтобы ущипнуть, прижать или задушить в объятиях, но в ту пору я еще не был моральным уродом, напротив, я был полон благих намерений. Любить? Смело могу утверждать, что я стремился к любви, я надеялся с ее помощью пробить стену тайны... и с воодушевлением и верой терпел все причуды этого причудливейшего из чувств в надежде, что когда-нибудь все же пойму, где тут собака зарыта.

— Я хочу тебя! — говорил я своей возлюбленной. Она отделялась общими фразами.

— Да вы просто нуль! — как-то сказала она, загадочно

глядя мне в лицо. — Неженка, пижончик, маменькин сынок!

Я вздрогнул: маменькин сынок? Что она этим хотела сказать? Неужели догадалась... ведь и я уже начал догадываться... Я уже понимал, что если мой отец являлся образцом породистости, то мать тоже была породистой, но в другом смысле, в семитском смысле. Что побудило отца, обедневшего аристократа, жениться на моей матери, дочери богатого банкира? Мне становились понятны его тревожные взгляды, и то, как он всматривался в мои черты, и ночные похождения — похождения человека, который, прозябая в постылом симбиозе с моей матерью, стремился, в высших интересах расы, передать свою породу более достойным чреслам. Понятны ли? Строго говоря, непонятны, и тут снова вырастала волшебная стена тайны — я понимал теоретически, но сам не чувствовал отвращения ни к матери, ни к отцу, я был преданным сыном. И сегодня я до конца не понимаю, не знаком с такой теорией, не знаю, какой масти должна быть крыса, рожденная от черного самца и белой самки, я только допускаю, что со мной произошел редкостный казус, исключительный случай — когда враждебные расы родителей, обладая абсолютно равной силой, нейтрализовались во мне до такой степени, что я получился крысой без масти, без окраса. Нейтральная крыса! Вот моя судьба, вот моя тайна, вот почему мне всегда не везло, и, принимая участие во всем, я ни в чем не мог принять участия. И поэтому тревога овладела мной при звуке этих слов: «маменькин сынок» — тем более, что им сопутствовал взгляд, обжигавший меня уже не раз на моей памяти: взгляд из-под полуопущенных век.

— Мужчина, — говорила она, жмурия свои красивые глазки, — мужчина должен быть дерзким!

— Конечно. Я могу быть дерзким, — отвечал я.

Она была не лишена фантазии. Приказывала мне прыгать через канавы, сдвигать с места тяжелые предметы.

— Вытопчите вон ту клумбу, но не сейчас, а на глазах у сторожа. Поломайте кусты, бросьте в воду шляпу вон того господина!

Я остерегался впасть в резонерство, помня об инциденте на школьном дворе, а когда все же спрашивал о причине и смысле ее приказов, робко требуя аргументов, она отвечала, что сама не знает, что она — загадка, стихия.

— Я сфинкс,— говорила она,— тайна...

Когда мне не везло, она огорчалась, а если что-то удавалось — радовалась, как ребенок, и в награду разрешала поцеловать себя в ушко. Но никогда не удостоивала ответом мое «я тебя хочу».

— Есть в вас что-то такое,— говорила она смущенно,— не знаю... какой-то *привкус*.— Я хорошо знал, что это значит.

Все это было, признаться, необычайно обаятельно, необычайно красиво — да, именно красиво,— но вместе с тем необычайно неубедительно. Однако я не унывал. Много читал, особенно стихов, и усваивал, как мог, язык тайны. Помню сочинение «Поляки и другие народы». «Разумеется, излишне доказывать превосходство поляков над неграми и азиатами, у которых столь отталкивающая внешность,— написал я.— Но и над европейскими народами превосходство поляков не вызывает никаких сомнений. Немцы — неуклюжи, грубы, страдают плоскостопием, французы — низкорослы, тщедушны и развратны, русские — лохматы, итальянцы — *bel canto*. Какое же счастье — быть поляком, и вовсе не удивительно, что все завидуют нам и хотели бы стереть нас с лица земли. Только поляк не вызывает у нас отвращения». Все это я написал не столько по убеждению, сколько нащупывая по наитию язык тайны, и именно наивность моих утверждений проливала бальзам на мою душу.

3

Политический горизонт темнел, и мою возлюбленную охватило необычайное возбуждение. Ах, эти великие, фантастические сентябрьские дни! Они пахли, как я вычитал в книгах, вереском и мятой — прозрачные, горькие, горячие и нереальные сентябрьские денечки. На улицах — толпы, песни и шествия, страх, безумие и экзальтация — и над всем царил ритмичный шаг марширующих отрядов. Тут — старик повстанец, слезы и благословение. Там — мобилизация, прощание молодых супругов. А там — речи, взрывы энтузиазма, национальный гимн. Клятвы, самоотверженность, слезы,

плакаты, негодование, благородство и ненависть. Никогда прежде, если верить художникам, женщины не были так прекрасны. Моя возлюбленная перестала обращать на меня внимание, взгляд ее стал глубоким и темным, приобрел выразительность, но смотрела она только на военных.

Я размышлял: что же мне предпринять? Мир тайны внезапно набрал дьявольскую силу, и мне пришлось усилить бдительность.

Я ликовал вместе с другими и всячески выражал свой патриотизм, несколько раз даже принимал участие в стихийных самосудах над шпионами. Но меня не покидало ощущение, что с моей стороны это всего лишь полумеры. Во взгляде моей Ядвиси появилось нечто такое, что заставило меня, не мешкая, записаться добровольцем в уланы.

И с первых же шагов я понял, что нахожусь на верном пути: стоя голым, с бумагой в руке, перед военно-медицинской комиссией — перед шестью чиновниками и двумя врачами, которые велели мне поднять ногу и осматривали мою пятку, — я встретился с тем же испытующим, серьезным, как бы задумчивым и холодно оценивающим взглядом Ядвиси и лишь удивлялся, почему тогда в парке, уличая меня во всяческих изъянах, она не обратила внимания на пятки.

И вот я стал солдатом, уланом, и пел вместе с другими: «Уланы-ребятки, удалы и хватки, любая девица за вами помчится». Хотя каждого их нас в отдельности, конечно, трудно было бы назвать «ребятенком», когда всем отрядом проезжали мы по городу с этой песенкой, склонившись к лошадиным шеям, с пиками и в киверах, восхитительные, волшебные улыбки появлялись на лицах у женщин, и я чувствовал, что на этот раз и для меня бьются их сердца... Почему — не знаю: ведь я по-прежнему оставался графом Стефаном Чарнецким, по матери — пее * Гольдвасер, только в сапогах и в мундире с малиновыми отворотами. Моя мать, заклиная меня быть беспощадным в бою, благословила меня святыми мощами в присутствии челяди, из которой горничная казалась наиболее растроганной.

— Режь, пали, убивай,— призывала мать с воодушевле-

* урожденная (франц.).

нием.— Никому не спускай! Ты — орудие гнева Иеговы, то есть, я хотела сказать, Господа Бога! Ты орудие гнева, презрения, отвращения, ненависти. Истреби всех развратников, которые гнушаются, хоть перед алтарем и клялись не гнушаться!

И отец, горячий патриот, плакал в стороне.

— Сын мой,— сказал он,— тебе дано кровью смыть позорное пятно своего происхождения. Перед боем всегда вспоминай обо мне и, как огня, остерегайся думать о матери, это может погубить тебя. Думай обо мне и не прощай! Не прощай! Всех до единого истреби, всех этих бездельников, да сгинут все другие расы и да здравствует только моя раса!

А возлюбленная впервые подставила мне свои губы; это было в парке, под звуки ресторанного квартета, однажды вечером, когда пахло вереском и мятой,— просто, без всяких вступлений и объяснений, она подставила мне свои губы. Потрясающе красивые! Плакать хочется! Теперь-то я понимаю, что речь шла о производстве трупов, и поскольку мы, мужчины, учинили кровавую бойню, они, женщины, со своей стороны тоже приступили к делу, но в то время я еще не был нравственным уродом, и эта мысль, хоть уже и возникала у меня, оставалась лишь пустой философией и не сдерживала слез, струящихся из глаз.

Войнушка, войнушка, что ты за дама? Простите, что я снова возвращаюсь к тайне, которая не дает мне покоя. Солдат на фронте барахтается в кровавом месиве, его преследуют болезни, лишай и грязь, а если ему разворотит снарядом живот, то и кишки подчас вываливаются наружу... Так как же так? Почему же это солдат — ласточка, а не жаба? Почему профессия солдата почитается красивой и столь возжеланной? Да что там красивой — прекрасной, безгранично и беспредельно прекрасной. Именно сознание, что она прекрасна, придавало мне сил в борьбе с мерзким предателем солдатской души, со страхом, и я был почти счастлив, словно уже проник сквозь непроницаемую стену. Каждый раз после удачного выстрела из винтовки я чувствовал, как становятся понятней загадочные улыбки женщин и роднее — такты солдатской песенки, и я даже — после немалых усилий — сумел добиться благорасположения свое-

го коня, этой гордости улана, который до тех пор только кусал меня и лягал.

4

Но один случай вверг меня в пропасть нравственного банкротства, откуда я и до сих пор не могу выбраться. Все шло наилучшим образом. Война бушевала по всему миру и вместе с ней — Тайна, люди загоняли друг друга в живот штыки, ненавидели, гнушались и презирали, любили и преклонялись, где прежде крестьянин спокойно молотил хлеб, там теперь лежали груды развалин. И я — заодно со всеми! У меня не было сомнений, как поступать и что выбирать; жесткая военная дисциплина служила мне путеводной звездой на пути к Тайне. Я стремился в атаку либо лежал в окопе среди удушающих газов. Уже надежда, мать глупцов, рисовала мне радужные картинки будущего — как я вернусь домой из армии, навсегда избавленный от своей фатальной крысиной нейтральности. Но, увы, случилось иначе... Вдали громыхали пушки... На вспаханное поле перед нами опускалась ночь, по небу мчались рваные облака, обжигал леденящий ветер, а мы — более прекрасные, чем когда-либо, — уже третий день яростно обороняли бугорок, на котором торчало сломанное деревце. Поручик приказал нам стоять насмерть.

Вдруг прилетает снаряд, лопается, взрывается, отрывает улану Кацперскому обе ноги, распарывает живот, а наш улан, поначалу растерявшись, не понимает, что же произошло, и тоже взрывается — но смехом, тоже лопается — но от смеха! — держась за живот, из которого фонтаном хлещет кровь, он пищит и пищит ужасно смешным визгливым, истерическим, водевильным дискантом — долгие минуты! Очень заразительный смех! Вы понятия не имеете, как звучит на поле боя вот такой внезапный смех. Я с трудом дотянул до конца войны.

А вернувшись домой, я убедился, что все, чем жил прежде, рассыпалось в прах, напрочь развеялись мечты о новом, счастливом существовании под бочком у Ядвиси и что в

пустыне, которая вдруг передо мной открылась, мне не остается ничего иного как стать коммунистом. Почему? Коммунистом? Но прежде — что я понимаю под словом «коммунист»? Я не вкладываю в него никакого конкретного идеологического содержания — ни программы, ни смысловой нагрузки, напротив, я употребляю это слово скорее потому, что есть в нем что-то чужое, враждебное и непонятное, заставляющее самых серьезных людей пожимать плечами, а то и дико кричать с отвращением и страхом.

Впрочем, если уж обязательно необходима программа, то пожалуйста: я желаю и настаиваю, чтобы всё: отцы и матери, раса и вера, добродетели и невесты, — всё было огосударствлено и выдавалось по карточкам равными и достаточными порциями. Я желаю и готов настаивать на своем желании перед лицом всего мира, чтобы мою мать раскроили на кусочки и каждому, кто недостаточно усерден в молитвах, дали по кусочку и чтобы так же поступили с отцом — на благо тем несчастным, у кого подпорчена порода. Я требую также, чтобы все улыбки, обаяние и женские прелести предоставлялись только по искреннему желанию, а необоснованное отвращение каралось бы заключением в исправительных домах. Вот моя программа. Что же касается метода, то он заключается прежде всего в притворном смехе и прищуренных глазках. С непоколебимым упорством я исхожу из принципа, что война уничтожила во мне все человеческие чувства. И продолжаю утверждать, что лично я ни с кем не подписывал мир и что военное положение для меня вовсе не отменено. «Ха! — воскликнете вы. — Программа — нереальная, а метод — глупый и невразумительный». Хорошо, но разве ваша программа более реальна, ваши методы — более вразумительны? В конце концов я не настаиваю ни на программе, ни на методе — и если я выбрал понятие «коммунизм», то лишь потому, что «коммунизм» для разума, ему противостоящего, такая же непостижимая тайна, как для меня ваши капризы и улыбочки.

Так вот, достопочтенные господа, вы улыбаетесь, щурите глазки, жалеете ласточек и мучаете лягушек, придираетесь к носу; вечно вы кого-то ненавидите, кем-то гнушаетесь или опять же впадаете почему-то в состояние любви и востор-

га — и все это во имя какой-то Тайны. Но что будет, если и я займею собственную тайну и стану навязывать ее вашему миру со всем патриотизмом, героизмом, самопожертвованием, которым научили меня любовь и армия? Что будет, если и я в свою очередь улыбнусь (несколько иной улыбкой) и прищуру глаз с бесцеремонностью старого вояки? Например, я очень остроумно поступил с моей возлюбленной Ядвисей.

— Женщина — это загадка? — спросил я. (После моего возвращения она встретила меня крайне сердечно, осмотрела медали, и мы сразу же отправились в парк.)

— О да, — ответила Ядвися. — Разве я не загадочна? — добавила она, опустив ресницы. — Женщина — это стихия и сфинкс.

— Я тоже загадка! — сказал я. — У меня тоже есть свой язык тайны, и я хочу, чтобы ты овладела им. Видишь эту лягушку? Клянусь честью солдата, что суну ее тебе под блузку, если ты не произнесешь сейчас же, совершенно серьезно и глядя мне прямо в глаза, следующие слова: чам — бам — биу, мину — мню, ба — би, ба — бе — но — зар.

Она ни за что не соглашалась. Всячески выкручивалась, объясняя, как это глупо и нелогично, уверяя, что она *не может*, раздумянилась, пыталась все превратить в шутку, наконец начала плакать.

— Я не могу, не могу, — повторяла она, всхлипывая, — мне стыдно, как же... такие бессмысленные слова!

Я взял большую упитанную жабу и выполнил обещанное. Казалось, Ядвися сойдет с ума. Словно одержимая, каталась она по земле, а визг, который она издавала, мог бы сравниться только с ужасно смешным пискливым смехом человека, которому снаряд оторвал обе ноги и разворотил живот. Может быть, такое сравнение, как и шутка с лягушкой, вульгарно, однако прошу не забывать, что я — бесцветная крыса, нейтральная крыса, не белая и не черная, для большинства людей и сам воплощение вульгарности. И разве может быть одно и то же для всех одинаково сладостным и прекрасным? Что мне лично показалось наиболее прекрасным во всей этой истории, наиболее таинственным и пахнущим вереском и мятой, так это то, что Ядвися — не в со-

стоянии избавиться от жабы, безумствующей под блузкой, — в конце концов и сама обезумела.

Может, я и не коммунист, может, я всего лишь воинственный пацифист. Я слоняюсь по белу свету, плыву в пучине непостижимой идиосинкразии и где только не замечу какое-нибудь загадочное чувство, будь то добродетель или семья, вера или отечество, там обязательно должен совершить какую-нибудь пакость. Вот моя тайна, которую я со своей стороны противопоставляю великой загадке бытия. Ну просто не могу спокойно пройти мимо счастливых жениха с невестой, мимо матери с ребенком либо почтенного старичка — но порой охватывает меня тоска при мысли о вас, дорогие мои Отец и Мать, о тебе, святое мое детство!

Преднамеренное убийство

Прошлой зимою понадобилось мне навестить одного помещика, Игнация К., чтобы уладить с ним кое-какие имущественные дела. Взяв отпуск на несколько дней и передав свои функции судебному заседателю, я отправил телеграмму: «Пришлите лошадей вторник шесть вечера».

Прибываю на станцию — лошадей нет. Навожу справки: телеграмма моя доставлена, все как положено. Накануне ее вручили адресату в собственные руки. Volens nolens * пришлось нанять частную повозку, погрузить на нее чемодан и несессер — там у меня лежали флакон одеколона, пузырек с вежеталем, туалетное мыло (миндальное), а также ножнички и пилочка для ногтей, — и вот уже четыре часа трясусь я среди полей, ночью, в тишине и сырости. Трясусь в городском пальтишке, стучу зубами, смотрю на спину возницы и думаю: так подставлять спину! Вот так постоянно, чаще всего в безлюдной местности, сидеть спиной к седоку и зависеть от любого его каприза!

Наконец подъезжаем к усадьбе — в доме темно, только на первом этаже окно светится. Я стучусь — дверь заперта, стучусь погромче — ни звука, тишина. Меня окружают дворовые псы, и я ретируюсь к повозке. Мой возница направляется к дому и в свою очередь пытается достучаться.

«Не слишком-то гостеприимно», — думаю я.

Но вот дверь открывается, на пороге — высокий, худой мужчина лет под тридцать, со светлыми усиками, с лампой в руке.

«В чем дело?» — спрашивает он, будто спросонья, и поднимает лампу повыше. «Разве вы не получили мою телеграмму? Я Г.».— «Г.? Какой Г.? — Он всматривается в ме-

* Хочешь не хочешь (лат.).

ня.— Езжайте с Богом,— говорит он вдруг тихо, словно разглядел на моем лице какие-то особые приметы, и, судорожно сжимая кольцо лампы, отводит глаза в сторону.— С Богом, с Богом, езжайте! Счастливого пути!» — и поспешно отступает внутрь.

Но я решительно останавливаю его.

«Простите! Вчера я телеграфировал о своем приезде. Я следователь Г. Мне нужно видеть господина К.— а приехал я так поздно лишь потому, что за мной не прислали на станцию лошадей».

Он опустил лампу и на минуту задумался.

«Да, да, верно...— Мой тон не произвел на него ни малейшего впечатления.— Верно... Была телеграмма... Пожалуйста, проходите».

Что же выясняется? Как мне признался в прихожей молодой человек (он оказался сыном хозяина), они просто... совершенно забыли о моем приезде и о телеграмме, полученной накануне утром. Оправдываясь и извиняясь за вторжение, я снял пальто и повесил его на вешалку. Затем он провел меня в маленькую гостиную — сидевшая там молодая женщина, завидев нас, тихонько ахнула и вскочила с софы.

«Моя сестра». — «А, очень приятно!»

И в самом деле — очень приятно, потому что присутствие женщины, даже если не строить никаких особых планов, присутствие женщины, смею вас уверить, никогда не помешает. Но рука, которую она мне подала, была потная, — где это видано, чтобы подавать мужчине потную руку? — и от этого ее женственность (несмотря на милое личико) в глазах моих несколько поблекла, да и сама она выглядела равнодушной, аморфной, неряшливой и непрической.

Итак, мы рассаживаемся на старинных стульях с красной обивкой, и начинается предварительная беседа. Однако первые же мои вежливые фразы натываются на глухое сопротивление, и разговор, не успев набрать желательной плавности, сразу же спотыкается и рвется.

Я: «Вы, должно быть, удивились, услышав стук в дверь в такой поздний час?» О н и: «Стук? А, да, действительно...» Я, л ю б е з н о: «Мне очень жаль, что я побеспокоил вас, но иначе мне пришлось бы всю ночь ездить по полям,

как Дон-Кихоту, ха-ха!» Они (тихо и натянуто, не считая нужным ответить на мою шутку хотя бы формальной улыбкой): «Ну что вы, конечно, конечно...»

Что ж такое? Все это, в самом деле, выглядит так, словно они на меня обижены, или боятся меня, или жалеют, или будто им за меня стыдно...

Вжавшись в кресла, они избегали моего взгляда, не смотрели друг на друга, со скрытой досадой лишь выносили мое присутствие — казалось, будто каждый из них занят исключительно собою, и только они все время боятся и дрожат, как бы я не сказал чего-нибудь такого, что их больно заденет. В конце концов меня это стало раздражать. Чего они боятся, что они во мне такое увидели? Как можно так принимать гостя? Что это — аристократизм, страх, высокомерие? Когда же я напомнил им о цели своего визита, то есть о господине К., брат посмотрел на сестру, а сестра на брата, словно оба уступали друг другу первенство, и наконец брат, проглотив слюну, четко произнес — четко и торжественно, будто невесть что:

«Конечно, он в доме».

Как будто сказал: «Король, Отец мой, в доме!»

Ужин тоже прошел довольно странно. Блюда подавались вяло, не без пренебрежения к еде и ко мне. Аппетит, с каким я, проголодавшись, уплетал дары Божии, вызывал возмущение даже у торжественного лакея Щепана, не говоря уже о брате и сестре — они молча прислушивались к звукам, которые я издавал, опорожня тарелку, — а ведь всем известно, как трудно глотать, когда кто-то прислушивается: каждый кусок тогда невольно проскакивает в горло с ужасным хлопаньем. Брата звали Антоний, сестру — Цецилия.

Между тем смотрю — кто же это входит? Низложенная королева? Нет, это мать, госпожа К. — она медленно подплывает, подает мне холодную как лед руку, смотрит на меня с оттенком благородного изумления и садится без единого слова. То была женщина невысокая, упитанная, даже полная, типичная пожилая деревенская матрона, закованная в броню неумолимых принципов и светских правил. Она смотрит на меня строго, с безмерным изумлением, будто на лбу у меня прочитала неприличное выражение. Цецилия делает жест рукой, словно пытается объяснить что-то или оправдать,

но жест замирает на полпути, атмосфера же еще больше сгущается, натянутость усиливается.

«Вы, должно быть, очень недовольны... что зря потеряли время?» — произносит наконец госпожа К. — но каким тоном?! Тонем обиды, тоном оскорбленной королевы, перед которой забыли снять шляпу, будто съесть котлету означало совершить *crimen laesio majestatis* *! «Отбивные в вашем доме готовят замечательно!» — ответил я разозлившись, так как невольно — чем дальше, тем больше — чувствовал себя глупо, нелепо и неловко. «Котлеты, котлеты...»

«Антось еще не сказал, мама», — вырвалось вдруг у робкой, тихой, как мышка, Цецилии. «Как это — не сказал? Как это — не сказал? *Еще* не сказал?» — «Ну зачем вы, мама?» — прошептал Антоний. Он побледнел и стиснул зубы, словно сидел в кресле дантиста. «Антось...» — Но... Зачем? Все равно... не стоит — успеем еще», — сказал Антоний и замолчал. «Антось, как же можно; как же — не стоит, что ты, Антось?» — «Это никого не касается... Все равно...» — «Бедняжка! — прошептала мать, погладив Антония по голове; но он сурово отвел ее руку. — Мой муж, — сухо проговорила она, повернувшись ко мне, — умер сегодня ночью». — «Что?! Умер? Так вот что! — Я прервал еду, отложил вилку и нож, поспешил проглотить кусок, который оставался во рту. — Как же это? Еще вчера он получил телеграмму на станции!»

Я посмотрел на них: все трое ждали, смиренно и серьезно, ждали со строгими лицами, поджав губы. Они чопорно ждут — но чего? Ах да, ведь нужно выразить соболезнование!

Это было так неожиданно, что в первую минуту я совершенно растерялся. Смущенный, я поднялся со стула, пробормотал что-то вроде «я очень сожалею... очень... простите...» — и замолчал. А они — хоть бы что, им все еще было мало: стояли, глаза вниз, с застывшими лицами, небрежно одеты, сын — небрит, мать и дочь — не причесаны, с грязными ногтями, стояли и молчали. Я откашлялся, лихорадочно подыскивая необходимые слова, подходящие выражения, но в голове, как назло, сами понимаете, совершенно пусто,

* преступление против достоинства (лат.).

пустыня, а они ждут, погруженные в страдания. Ждут не глядя — Антоний слегка постукивает пальцами по столу, Цецилия стыдливо теребит краешек грязного платья, а мать не шелохнется, словно окаменела, этакая строгая, неприступная матрона.

Мне стало неприятно, хотя как следователь я за свою жизнь перевидал сотни смертей. Впрочем... как сказать: одно дело — обезображенный, прикрытый одеялом труп убитого, а другое дело — почтенный покойник на катафалке, умерший естественной смертью; одно дело — смерть без церемоний, а другое дело — пристойная смерть, в согласии с обычаями и хорошими манерами, смерть, я бы сказал, во всем своем величии. Но, повторяю, никогда бы я так не растерялся, скажи они мне все сразу. Но они были чересчур скованны. Слишком испуганы. Не знаю — может быть, просто потому, что я был чужаком, или они некоторым образом стыдились меня как должностного лица, чья профессия подчеркивалась данными обстоятельствами, стыдились моей, так сказать... деловитости, выработанной неволью за многолетнюю практику, — во всяком случае, их стыдливость как-то ужасно пристыдила и меня, пристыдила, собственно говоря, совершенно неадекватно обстоятельствам. Я промямлил что-то такое об уважении и привязанности, которые всегда питал к умершему. Вспомнив, что со школьных лет ни разу больше с ним не виделся, о чем они могли знать, — я добавил: «В школьные годы». Поскольку они по-прежнему не отвечали, а надо же было как-то закончить, закруглиться, я, ничего больше не придумав, спросил:

«Могу я взглянуть на тело?» И слово «тело» прозвучало как-то уж слишком зловеще.

Мое смущение, видимо, смягчило вдову — она жалобно заплакала и протянула мне руку, которую я смиренно поцеловал.

«Сегодня, — произнесла она, будто в полуобмороке, — сегодня ночью... Утром встала... иду к нему... зову: Игнась, Игнась — молчание... лежит... Я потеряла сознание... упала... И с той минуты у меня все время трясутся руки, вот посмотрите!» — «Зачем вы, мама?» — «Дрожат... непрерывно дрожат». Она подняла руки. «Мама», — снова подает голос Антоний, чуть слышно. «Дрожат, дрожат — сами дрожат,

о, дрожат, как осина...» — «Это никого... никому... безразлично. Стыдно!» — вдруг грубо выкрикивает Антоний, поворачивается и выходит. «Антось! — в испуге зовет мать. — Цецилия, за ним!..»

А я стою, смотрю на ее трясущиеся руки, мне нечего сказать, и я чувствую, что теряюсь, смущаюсь еще больше.

Вдруг вдова тихо сказала: «Вы хотели... Так идемте... туда... Я вас провожу».

Я положительно считаю, — нынче, когда я спокойно обдумываю события той ночи, — что имел полное право распоряжаться собою и своими котлетами, то есть я вполне мог — и даже обязан был — ответить: «Я к вашим услугам, но прежде я доем котлеты, поскольку с утра у меня во рту маковой росинки не было». Быть может, если бы я так ответил, это предотвратило бы дальнейшее трагическое развитие событий. Но разве я виноват? Я был настолько ею терроризирован, что и котлеты мои, и собственная моя персона показались мне чем-то тривиальным и недостойным внимания, мне вдруг стало так стыдно, что и поныне я краснею при одной мысли о том позоре.

По дороге на второй этаж, где лежал покойник, она шептала, будто сама себе: «Ужасное несчастье... Удар, страшный удар... Дети молчат. Они гордые, скрытные — трудные дети. Они не хотят впускать в свое сердце никого, предпочитают терзаться в одиночку. Это у них от меня, от меня... Ах, только бы Антось не совершил над собой что-нибудь ужасное! Он такой суровый, отчаянный, у него не дрогнет рука. Он не позволил трогать тело — а ведь нужно же что-то предпринимать, как-то все устроить. Он не плакал, совсем не плакал... Ах, пусть бы он хоть разочек заплакал!»

Она открыла какую-то дверь — и я вынужден был преклонить колени, с опущенной головой, с застывшим лицом, а она стояла рядом, торжественная, неподвижная, словно причащаясь Святому Таинству. Умерший лежал на кровати — там, где он и умер, только его уложили на спину. Синее, опухшее лицо свидетельствовало о том, что он умер от удушья, как всегда бывает при сердечных приступах.

«Его задушили», — прошептал я, хотя отлично знал, что то был сердечный приступ. «Это сердце, сердце... Он умер

из-за сердца...» — «О, сердце иногда может задушить... да, может...» — сказал я мрачно.

Она все стояла, чего-то ждала — я перекрестился, прочел молитву, а затем (она все стояла) тихо сказал: «Какие благородные черты!»

Руки у нее так затряслись, что пришлось снова их целовать. Она даже не шелохнулась, все так же стояла, как кипарис, скорбно уставившись куда-то сквозь стену, — и чем дольше она так стояла, тем трудней было не выразить ей хоть каплю сочувствия.

Я поднимаюсь с колен, без особой надобности стряхиваю какую-то пылинку с одежды, тихо покашливаю — а она все стоит. Стоит в забытьи, молча, вытаращив глаза, как Ниоба, устремив взгляд в прошлое, — какая-то измятая, растрепанная, из носа у нее появляется маленькая капелька и висит, висит... как дамоклов меч, — и коптят свечи.

Выждав несколько минут, я попытался тихо окликнуть ее — она вздрогнула, будто ее что укусило, прошла пару шагов и снова остановилась. Я снова опустил на колени. Отвратительная ситуация! Тем более ужасная для такого впечатлительного, а главное, для такого чувствительного человека, как я! Нет, я не хочу подозревать ее в сознательной злонамеренности, и тем не менее — кто осмелится возразить? — была в этом все же некая злонамеренность. И никто не убедит меня в обратном! Не сама она — именно ее злонамеренность упивалась тем, как я тут ломаюсь перед ней и перед трупом.

Стоя на коленях в двух шагах от трупа — к которому впервые в моей жизни я не смел прикоснуться, — я бессмысленно разглядывал одеяло, натянутое поверх покойника до самых подмышек, на руки, заботливо уложенные поверх одеяла; в изножье кровати стояли цветы в горшках, а из углубления в подушке выступало бледное лицо. Я смотрел на цветы, потом снова на лицо умершего, а в голове у меня упорно крутилась одна до странности назойливая мысль, что все это — заранее поставленная театральная сцена. Все казалось срежиссированным: вот здесь почтенный труп — неприкосновенный, равнодушно уставившийся закрытыми глазами в потолок; рядом — вдовица, а подле — я, следовательно, на коленях, словно злой пес, которому надели намордник.

«А что, если встать, подойти да сдернуть одеяло и осмотреть труп — или хотя бы прикоснуться — прикоснуться кончиком пальца?»

Но это я только думаю так — невозмутимое достоинство смерти приговждает меня к месту, скорбь и добродетель оберегают от профанации. Стоп! Нельзя! Не сметь! На колени!

Что это такое? — размышлял я неторопливо. Кто это все так срежиссировал? Я человек простой, обыкновенный — такая роль не по мне... Я не справлюсь... К черту! — подумал я вдруг. Что за идиотизм! Откуда это у меня? Неужели я прикидываюсь? Откуда у меня такая неестественность, аффектация, а ведь вообще-то я совершенно другой — или я от них заразился? Что же это — с той минуты, как я здесь, все у меня получается искусственно и претенциозно, как у плохого актера. Я совершенно потерял в этом доме свое лицо — я просто-напросто кривляюсь, гнусно кривляюсь. «Гм,— прошептал я, и опять-таки не без некоторой театральности (словно я уже втянулся в игру и никак не могу вернуться к норме),— никому не советую... Никому не советую делать из меня демона, а не то ведь я могу и откликнуться на приглашение...»

Вдова между тем вытерла нос и направилась к двери, что-то бормоча, покашливая и размахивая руками.

Оказавшись наконец в своей комнате, я отстегнул воротничок и вместо того, чтобы положить его на стол, шваркнул об пол, да вдобавок еще растоптал ногою. Лицо мое перекосилось и налилось кровью, а пальцы самым неожиданным для меня образом судорожно сжались в кулаки. Я был просто взбешен. «Выставили меня на посмешище,— шептал я,— проклятая баба... И как это они ловко все устроили. Заставила меня расшаркиваться перед ней — руки ей целовать! Они требуют от меня чувств! Чувств! Вынуждают церемонии тут разводиться! А я, откровенно говоря, ненавижу это! И еще, скажу я вам, ненавижу, когда вынуждают целовать трясущиеся руки, когда заставляют бормотать молитвы, становиться на колени, извлекать из себя фальшивые, отвратительно сентиментальные звуки — а больше всего ненавижу слезы, вздохи и капли из носа: нет, я люблю чистоту и порядок».

«Гм,— пробормотал я через минуту в раздумье, другим тоном, как бы осторожно нащупывая мысль,— они велят целовать им руки? Ноги я им должен целовать, ну конечно — кто я такой перед величественным лицом смерти и семейного горя?.. Вульгарный, бездушный полицейский шпик, и больше ничего — натура моя проявилась вполне. Однако... гм... не знаю, не слишком ли опрометчиво, да, я бы на их месте был немного осторожнее... чуточку скромнее... Следовало бы все-таки учитывать мой дурной характер, а если уж не мой... личный характер, то... то... по крайней мере, мой профессиональный характер. Об этом они забыли. Как бы там ни было, я — следователь, и здесь как-никак находится труп, а понятие «труп» соотносится некоторым образом — и не так уж это невинно — с понятием «следователь». И если бы я проследил, например, цепь событий именно с позиции... гм... следователя,— размышлял я неторопливо,— то что случилось бы?»

Пожалуйста: приезжает гость, который случайно оказывается следователем. Ему не присылают лошадей, не открывают двери, чинят всяческие препятствия — значит, кому-то нужно, чтобы он не попал в дом. Потом его принимают — неохотно, с плохо замаскированной неприязнью, с какой-то опаской — а кто же боится, кто же сердится при виде следователя? Что-то утаивают от него, скрывают — а потом выясняется, что скрывают-то не что иное, как... труп, и смерть наступила вследствие удушья в комнате наверху. Нехорошо! Когда же труп обнаруживается (всплывает на поверхность), они всеми способами заставляют следователя встать на колени и целовать руки, чтобы продемонстрировать, будто покойный умер естественной смертью!

Если кто-нибудь назовет такую концепцию нелепой, даже смешной (и в самом деле, откровенно говоря, нельзя же так грубо передергивать), тот пусть не забывает, что минуту назад я в ярости растоптал воротничок — вменяемость моя была ослаблена, сознание затуманено вследствие пережитой обиды, так что совершенно очевидно, я не вполне был способен отдавать себе отчет в своих выходках.

Глядя прямо перед собой, я важно произнес: «Что-то здесь не совсем ладно».

И принялся лихорадочно связывать цепочки фактов, выводить силлогизмы, разматывать ниточки и искать улики. Однако вскоре, утомленный бесплодностью своего занятия, я заснул. Да, да... Величие смерти, как ни смотри, конечно же, достойно уважения, и никто не скажет, что я не оказал ей надлежащие почести,— но не всякая смерть обязательно величественна, и пока это обстоятельство не выяснено, я бы на их месте не был так уверен в себе, тем более что дело это темное, запутанное и сомнительное, гм... гм... о чем свидетельствуют все улики.

На следующее утро, попивая в постели кофе, я заметил, что слуга, растапливающий печь — коренастый сонный увалень — поглядывает на меня со слабыми проблесками любопытства. Наверняка он знал, кто я такой, и я спросил:

«Так, значит, хозяин твой умер?» — «Значит, умер». — «И сколько ж вас тут, слуг?» — «А еще Щепан и повар. Это без меня. А со мной, значит, трое». — «Хозяин умер в комнате наверху?» — «Да уж само собой, наверху», — ответил он безразлично, раздувая огонь и надувая при этом свои мясистые щеки. «А вы где спите?»

Он перестал дуть и взглянул на меня — взглянул всего лишь на миг.

«Щепан с поваром спят на кухне, а я в буфетной». — «Значит, оттуда, где спят Щепан и повар, нельзя пройти в комнаты иначе как через буфетную?» — задал я, словно нехотя, следующий вопрос. «Нельзя», — ответил он и снова быстро взглянул на меня. «А женщины где спят?» — «Хозяйка раньше с хозяином, а теперь рядом, в другой комнате». — «С тех пор, как хозяин умер?» — «Э, нет, она раньше перебралась. Уж с неделю». — «А ты не знаешь, почему хозяйка перебралась от хозяина?» — «Откуда мне знать?..»

Я задал еще один вопрос: «А где спит молодой хозяин?» — «Внизу, рядом со столовой».

Я встал и тщательно оделся. Гм... гм...

Итак, если не ошибаюсь, появилась одна более или менее заслуживающая внимания улика — любопытная деталь. Как бы там ни было, а ведь это весьма странно: почему жена за неделю до смерти мужа покинула общую спальню? Может, боялась заразиться сердечной болезнью?

Страх, прямо скажем, несколько преувеличенный. Но никаких преждевременных выводов, никаких поспешных действий — и я спустился в столовую.

Вдова стояла у окна — скрестив руки, она всматривалась в чашечку из-под кофе, что-то монотонно шептала, исступленно покачивая головой, сжимая в руке мокрый носовой платок. Когда я подошел, она вдруг направилась вокруг стола в противоположную сторону, продолжая шептать и размахивая рукой, словно не в своем уме, однако я уже снова обрел утраченное накануне равновесие и, стоя в сторонке, терпеливо ждал, когда она наконец обратит на меня внимание.

«А, прощайте, прощайте,— произнесла она с отсутствующим видом, заметив мои поклоны,— очень рада была...» — «Прошу прощения,— зашептал я,— я... я... еще не уезжаю, я хотел бы еще пожить тут... некоторое время...» — «Ах, это вы»,— сказала она. И забормотала что-то о выносе тела, даже удостоила меня вялым вопросом: не останусь ли я на похороны? «Вы очень любезны,— ответил я со смиренным видом.— Кто же посмеет уклониться от последнего долга? Вы мне позволите еще раз взглянуть на останки?»

Не отвечая и не посмотрев, иду ли я за ней, она стала подниматься по скрипучей лестнице. После короткой молитвы я встал с колен и как бы в раздумьях о загадке жизни и смерти огляделся вокруг. «Удивительно! — воскликнул я про себя.— Прелюбопытно! На первый взгляд этот человек умер естественной смертью. Конечно, у него распухшее лицо, к тому же синее, как у задушенного, но ведь нигде никаких следов насилия, ни на теле, ни в комнате — и в самом деле может показаться, что он умер спокойно, во время сердечного приступа». И все-таки, несмотря на это, я внезапно подошел к кровати и прикоснулся пальцем к шее. Этот незначительный жест подействовал на вдову, как удар грома.

«Что вы? — закричала она.— Что вы? Что вы?» — «Не следует так волноваться, уважаемая»,— ответил я и уже без всяких церемоний стал скрупулезно осматривать шею трупа и всю комнату. Церемонии уместны до поры до времени! Мы бы ни на шаг не продвинулись, если бы стали

разводить церемонии, вместо того чтобы заняться подробным осмотром, когда того требует дело. Увы! — нигде буквально никаких улик, ни на шее, ни на комод, ни за шкафом, ни на коврике у кровати. Единственным предметом, заслуживающим внимания, был огромный дохлый таракан. Зато определенная улика появилась на лице у вдовы — она неподвижно стояла и наблюдала за моими действиями с тревогой и удивлением.

Тогда я спросил как можно осторожней:

«Почему вы неделю назад переселились в комнату дочери?» — «Я? Почему? Я? Почему переселилась? Откуда вы... Сын меня уговорил... Чтобы больше воздуха... Мужу душно было ночью... Но что это вы?.. Собственно, что вы... Почему вы?..» — «Простите... Мне очень жаль, но...» — остальное я досказал выразительным молчанием.

Кажется, она что-то поняла — осознала вдруг профессиональную принадлежность того, с кем разговаривала.

«Но все же... Как же это?.. Ведь... разве вы... что-нибудь заметили?»

В ее вопросе сквозил явный страх. В ответ я лишь кашлянул.

«Как бы там ни было,— сказал я затем сухо,— я бы вас попросил — вы, кажется, говорили что-то о выносе тела... Так вот, я вынужден вас просить — тело должно остаться до завтрашнего утра». — «Игнась!» — воскликнула она. «Именно так!» — отрезал я. «Игнась! Как же это? Нет, это невозможно, никак невозможно,— повторяла она, тупо глядя на покойника. — Игнась!»

И вдруг — интересно! — замолкла на полуслове, холодно поджала губы, испепелила меня взглядом, после чего, оскорбленная до глубины души, вышла из комнаты. Я вас спрашиваю — что же тут оскорбительного? Разве мысль о насильственной смерти мужа может оскорбить жену, если только сама она не приложила к этому руку? Чем же она оскорбительна — насильственная смерть? Может, она и оскорбительна для убийцы, но, уж наверное, не для покойника и не для его близких. Однако меня ждали более срочные дела, и я не стал больше тратить время на подобные риторические вопросы. Оставшись один на

один с трупом, я снова приступил к детальнейшему обследованию — и по мере того как я его проводил, на лице моем все ярче проступало удивление. «Ничего, абсолютно ничего,— шептал я.— Ничего, кроме таракана за комодом. Можно бы с уверенностью сказать, что нет ни малейших оснований для дальнейших действий».

Ха! Вот в чем загвоздка! В самом трупе, который ясно и определенно подтверждает профессиональному глазу, что человек умер естественной смертью во время сердечного приступа. Все внешние признаки — лошади, неприязнь, страх, скрытность — наводят на подозрения, а труп, глядя в потолок, заявляет: я умер из-за большого сердца. Это было очевидно и с физической, и с медицинской точек зрения, это звучало как аксиома: никто его не убивал по той простой причине, что он *вообще не был убит*. Я вынужден был признать, что большинство моих коллег по профессии на этом этапе прекратили бы следствие. Но только не я! Я уже слишком далеко зашел — я уже выглядел слишком смешным, я уже слишком был одержим жадной мести. Я поднял палец вверх, нахмурил брови. Преступление не рождается само по себе, господа, преступление нужно замыслить, измыслить, задумать, обдумать — без труда не выловить и рыбки из пруда.

«Видимость обманчива,— изрек я глубокомысленно,— и если она свидетельствует против преступления, не будем простачками, дабы не попасться на удочку видимости. И наоборот, если логика, здравый смысл, наконец, очевидность выступают адвокатом преступника, а внешние признаки свидетельствуют против него, мы не позволим обвести себя вокруг пальца логике и очевидности. Хорошо... но, при всех внешних признаках, как — говоря словами Достоевского — как приготовить печень зайца, если у вас нет зайца?»

Я смотрел на труп, труп же смотрел в потолок и громко свидетельствовал о невинности своей непорочной, нетронутой шеей. Вот в чем сложность! Вот в чем загвоздка! Но если препятствие нельзя обойти, нужно через него перепрыгнуть — *hic Rhodus, hic salta* *! Разве этот мертвый

* здесь Родос, здесь прыгай (лат.).

предмет с человеческими чертами, который я мог бы, если бы захотел, взять в руки,— разве это застывшее лицо в силах оказать существенное сопротивление моей подвижной, изменчивой физиономии, умеющей найти подходящую мину в любой ситуации? И если лицо трупа оставалось все тем же — спокойным, хотя чуть-чуть опухшим,— мое лицо изобразило торжественность, хитрость, дурацкую самонадеянность, словно я хотел сказать: очень уж я стреляный воробей для таких трюков!

«Да,— сказал я важно,— факт несомненный: он был задушен».

Изворотливый адвокат, возможно, и попытается доказать, что покойника задушило сердце. Гм... гм... Нас такими юридическими вывертами не купишь. Сердце — понятие растяжимое, даже символическое. Например, человек подскочил при известии о совершенном преступлении, а вы ему: ничего, ничего, это просто сердце. Неубедительно. Простите — какое сердце? Известно ведь, каким сложным, многозначным может быть сердце, о, сердце — это сосуд, способный вместить слишком многое: холодное сердце убийцы; истлевшее сердце распутника; верное сердце любимой; горячее сердце, неблагодарное сердце, сердце ревнивое, завистливое и т. д.

Пожалуй, между раздавленным тараканом и преступлением, быть может, и не существует непосредственной связи. Пока что установлено одно: умерший был задушен, и удушение это носит сердечный характер. Можно еще также добавить, учитывая отсутствие каких бы то ни было внешних повреждений, что удушение носит характер типично внутренних. Вот и всё... И не больше того — внутреннее, сердечное. Никаких преждевременных выводов — а теперь было бы неплохо пройтись по дому.

Я спустился вниз. Входя в столовую, я услышал звуки легких, поспешно удаляющихся шагов — кажется, барышни Цецилии? «Э, нехорошо убежать, девонька,— правда все равно настигнет!» Пройдя через столовую — слуги, накрывавшие на стол, исподтишка поглядывали на меня,— я неспешно направился в дальние комнаты. В одной из дверей мелькнула удаляющаяся спина Антония. «Если уж речь идет о внутренней — сердечной — причи-

не смерти,— размышлял я,— то надо признать, что этот старый дом как никакой другой подходит для такой версии. Откровенно говоря, может быть, это и не ах какая улика — и все же... — я потянул носом,— и все же налицо некоторый переполох, и в атмосфере чувствуется некий аромат, специфический запах — запах из категории тех, которые можно вынести, лишь когда он принадлежит тебе самому, вроде как запах пота,— запах, который я определил бы как запах семейных нежностей...» Продолжая привыкаться, я отмечал кое-какие детали, хоть и мелкие, но все же не совсем лишённые значения. Например — линялые, пожелтевшие занавески, ручная вышивка на подушках, обилие фотографий и портретов, вытертая спина многих поколений обивка на стульях... и кроме того: недописанное письмо на белом линованном листке, кусочек масла на ноже в гостиной на окне, пузырек с лекарством на комод, голубая ленточка за печью, паутина, много шкафов, застоявшиеся запахи... Все это создавало атмосферу особой заботливости, глубокой сердечности — сердце на каждом шагу находило себе пищу, да, сердце могло упиваться засохшим маслом, занавесочками, ленточками, запахами. Следовало также признать, что дом жил исключительно внутренней жизнью, и эта его внутренняя жизнь выражалась, главным образом, в вате на подоконниках и в выщербленном блюдецке с засохшей — еще с лета — ядовитой липучкой для мух.

Однако, чтобы никто не мог сказать, будто я, фанатично устремившись во «внутреннем» направлении, пренебрег другими возможностями, я не поленился проверить, действительно ли из служебных помещений дома можно пройти в жилые комнаты только через буфет, и убедился, что так оно и есть, я даже вышел во двор и не спеша, будто гуляя, прошелся по талому снегу вокруг дома. Не могло быть и речи о том, чтобы через двери или через окна, защищенные тяжелыми ставнями, кто-то ночью сумел проникнуть в дом. Из чего следовало, что если бы ночью в этом доме что-нибудь произошло, то никого нельзя было бы в этом заподозрить, кроме разве что Стефана, который спал в буфетной. Итак, я ловко разрешил загадку: да, это наверняка слуга Стефан.

Только он, именно он — не зря ведь в глазах у него светится что-то нехорошее.

Рассуждая в таком духе, я наострил уши — сквозь открытую форточку донесся до меня голос, и как же он отличался от того, который я слышал прежде: это уже не голос исстрадавшейся королевы, а голос, искаженный страхом и беспокойством, взволнованный, ослабевший женский голос, который словно придавал мне надежды, шел мне навстречу.

«Цецилька, Цецилька... взгляни... Он уже ушел? Посмотри! Не высовывайся, не высовывайся — он увидит тебя! Он сейчас вернется сюда — разнохивать, — ты убрала белье? Что он ищет? Что он заметил? Игнась! О Боже, зачем он осматривал печку, что он выискивал на комод? Это ужасно, шныряет по всему дому! Мне-то ничего, пусть делает со мной что хочет, *но Антось, Антось этого не перенесет*. Для него это кошунство! Он страшно побледнел, когда я ему сказала, — *ах, я боюсь, у него не хватит сил!*»

Однако если преступление, как можно считать установленным в процессе расследования, было «внутренним», размышляя я далее, то долг велит признать, что убийство, совершенное лакеем, очевидно, с целью ограбления, ни в коей мере не может считаться преступлением, имеющим «внутренний» характер. Другое дело — самоубийство, когда человек убивает сам себя и все происходит внутри, либо отцеубийство, когда так или иначе убивает родная кровь. Что же касается таракана, то убийца, должно быть, уничтожил его по инерции.

Строя всяческие догадки, я сидел в кабинете и курил, как вдруг вошел Антоний. Увидев меня, он поздоровался, но уже не так заносчиво, как в первый раз, казалось даже, он чем-то озабочен.

«Прекрасный у вас дом, — сказал я. — Невероятно уютный, сердечный — что называется, семейный — теплый... Мне здесь вспомнилось мое детство, вспомнилась мать, в халате, обгрызенные ногти, отсутствие носового платка...» — «Дом? Дом — да, конечно... Тут мыши. Но я не об этом. Мама сказала мне — вы, кажется... то есть...» — «Я знаю прекрасное средство от мышей — ратопекс.» —

«А! И?.. Да, надо взяться за них решительней, решительней, гораздо решительней... Вы, кажется, сегодня утром были у... отца... то есть, вернее, простите — у тела...» — «Да, был». — «А! И?..» — «И? Что — и?» — «Вы, кажется, там что-то... нашли». — «Да-да, нашел — дохлого таракана». — «Дохлых тараканов у нас тоже много, то есть тараканов... я хотел сказать — не дохлых тараканов». — «Вы очень любили отца?» — спросил я, взяв со стола альбом с видами Кракова.

Вопрос явно застал его врасплох.

Нет, нет, он не был готов к нему, опустив голову и глядя в сторону, он проглотил слюну и проговорил невнятно, с большим усилием, почти с отвращением:

«Достаточно...» — «Достаточно? Не много! Достаточно! Только и всего?» — «Почему вы спрашиваете?» — спросил он сдавленным голосом. «Почему вы притворяетесь?» — ответил я сочувственно, отечески наклонившись к нему с альбомом в руках. «Я? Я притворяюсь? Откуда... вы?..» — «Почему вы побледнели сейчас?» — «Я? Я — побледнел?» — «О-о! Смотрите исподлобья... Не заканчиваете фраз... Рассуждаете о мышах, тараканах... Голос то слишком громкий, то слишком тихий, охрипший, а то какой-то пискливый — аж в ушах свербит, — говорил я серьезно, — а жесты — конвульсивные, нервные... Впрочем, все вы тут какие-то нервные и неестественные. Зачем же вы так, молодой человек? Не лучше ли искренней — оплакивать? Гм... значит, вы любили... достаточно?! А зачем вы неделю назад уговорили мать перебраться из отцовской спальни?»

Совершенно парализованный моими словами, он не смел пошевелить ни рукой, ни ногой и еле смог выдавить из себя:

«Я? Как это? Отцу... отцу нужен был... свежий воздух...» — «В критическую ночь вы спали в своей комнате внизу?» — «Я? Ну, конечно, в комнате... в комнате внизу».

Я хмыкнул и пошел к себе, оставив его сидящим на стуле с поджатыми губами, с руками на чопорно сдвинутых коленях. Гм, по всей видимости, нервная натура. Нервная натура — стыдливость, чрезмерная впечатлительность, чрезмерная чувствительность... Однако я все еще держал себя в узде, не хотел никого преждевременно

вспугнуть. Когда в своей комнате я мыл руки и готовился выйти к обеду, заглянул слуга Стефан и спросил — не нужно ли мне чего-нибудь? Он выглядел заново рожденным! Глаза у него бегали, вся фигура изображала лакейскую изворотливость, и все душевные силы были максимально мобилизованы! Я спросил: «Ну, так что ты мне скажешь новенького?»

Он выпалил одним духом: «А, господин судья, вы спрашивали, спал ли я той ночью в буфетной? Так я хотел сказать, что в ту ночь, с вечера, молодой барин запер дверь буфетной на ключ со стороны столовой».

Я спросил: «А раньше он никогда не запирает эту дверь на ключ?»

«Ни-ни-ни! Никогда. А в тот раз запер, да и то, верно, думал, что я сплю, поздно уже было — но я еще не спал и слышал, как он подошел и запер. А когда отпер — того не знаю, заснул, и только под утро он меня разбудил, сказал, что хозяин помер, и дверь уж тогда открыта была».

Так, значит, ночью по неясным причинам сын умершего запирает на ключ дверь буфетной! Что бы это значило?

«Только вы не говорите, что я сказал».

Не зря определил я эту смерть как «внутреннюю!» Закрыли двери, чтобы никто из чужих не имел к ней доступа! Сети все больше смыкали свое кольцо, все ясней виднелась петля, затягивающаяся на шее убийцы. Но почему же вместо того, чтобы торжествовать, я только довольно глупо улыбался? Потому что — увы, приходилось это признать — не хватало чего-то по меньшей мере такого же важного, как петля на шее убийцы, а именно — петли на шее убитого. В самом деле, я перескочил загвоздку, совершил лихой кульбит и перемахнул через шею, сияющую белизной невинности, но все же невозможно вечно пребывать в состоянии оправдывающей меня эйфории. Хорошо, согласен (между нами говоря), я был взбешен, по тем или иным причинам ненависть, отвращение, обида ослепили меня, под их воздействием я настаивал на явном абсурде, это свойственно человеку, тут каждый меня поймет; однако наступит момент, когда надо будет образумиться, придет, как сказано в Писании, Судный день.

И тогда... гм... я скажу: это дело рук убийцы, а труп скажет: я умер от сердечного приступа. И что тогда? Что скажет Суд?

Допустим, Суд спросит: «Вы утверждаете, что умерший был убит? На каком основании?»

Я отвечу: «Уважаемый Суд! Его семья, его жена и дети, в частности сын, ведут себя двусмысленно, ведут себя так, будто убили его,— это не подлежит сомнению».

«Хорошо — но каким же образом он мог быть убит, если он *не* убит, если судебно-медицинская экспертиза с исчерпывающей ясностью показала, что он просто умер от сердечного приступа?»

И тотчас поднимется адвокат, наемный враль, и в длинной речи, размахивая рукавами тоги, станет доказывать, что это недоразумение, корни которого в низком уровне моего мышления, что я спутал преступление и скорбь — иными словами, то, что я принял за признаки нечистой совести, есть не что иное, как пугливость чувства, которое прячется и съеживается от холодного чужого прикосновения. И снова вернется удручающе назойливый рефрен: каким же это чудесным образом он был убит, если он *вовсе не* убит? Если на теле его не видно и малейших следов удушенья?

Загвоздка эта настолько меня раздражала, что за обедом — просто для самого себя, чтоб приглушить свою озабоченность и отогнать донимающие меня сомнения, без всяких задних мыслей — я начал доказывать, что преступление обычно имеет не физическую природу, а *par excellence* * психическую. Если не ошибаюсь, кроме меня, никто не раскрыл рта. Господин Антоний не обмолвился ни словом, не знаю — потому ли, что не считал меня достойным этого, в отличие от предыдущего вечера, или потому, что боялся, как бы голос его не прозвучал слишком хрипло. Мать-вдова сидела торжественно, как на богослужении, все еще, как мне показалось, смертельно обиженная, и руки у нее тряслись, словно стремились обеспечить себе безнаказанность. Барышня Цецилия тихо глотала слишком горячий суп. Я же, по вышеупомянутым

* по преимуществу (франц.).

внутренним причинам, не отдавал себе отчета в бестактности, которую совершаю, и, не учитывая определенной напряженности в атмосфере, разглагольствовал гладко, длинно и пространно.

«Уверяю вас, господа, физические признаки действия, истерзанное тело, беспорядок в комнате, всякие так называемые улики — все это детали второстепенные, дополнение, по сути, к преступлению, как таковому, судебно-медицинская формальность, реверанс преступника властям, только и всего. Преступление, как таковое, совершается всегда в душе. Внешние признаки... Боже мой! Расскажу вам хотя бы такую историю: племянник неожиданно ни с того ни с сего вгоняет в спину своему дядюшке-благодетелю, который на протяжении тридцати лет осыпал его милостями, длинную старомодную булавку от шляпы. Вот вам, пожалуйста! — такое крупное моральное преступление, и такой малюсенький, совсем незаметный физический след, крохотная дырочка в спине от укола булавки. Племянник объяснял потом, что по рассеянности принял спину дядюшки за шляпку своей кухни. Кто же ему поверит?

Да, да, с физической точки зрения преступление — пустяк, и только в моральном плане совершить его трудно. Ввиду необыкновенной хрупкости человеческого организма можно убить случайно, как этот племянник, по рассеянности, — ни с того ни с сего вдруг бах — и лежит труп.

Одна женщина, вполне достойная и добродетельная, по уши влюбленная в своего мужа, в разгар медового месяца заметила в малине на тарелке супруга белого продолговатого червячка — а к вашему сведению, больше всего на свете муж ненавидел этих отвратительных гусениц. И вот вместо того чтобы предостеречь его, она смотрит с лукавой усмешкой, а потом говорит: «Ты съел червяка». — «Нет!» — вопит потрясенный муж. «Не сомневайся», — отвечает жена и подробно расписывает: он был такой-то и такой-то, жирный, белый. Смех, дружеские препирательства, муж в притворном гневе воздевает руки к небу, сетуя на злобредность жены. И об этом забывают. А через неделю или две жена с удивлением наблюдает, как ее муж худеет, сохнет, срыгивает все, что съедает, брезгует соб-

ственной рукой, ногой и (да простят мне такое выражение) уже не ездит в Ригу, а, можно сказать, постоянно пребывает в Риге. Прогрессирующее отвращение к самому себе, ужасная болезнь! И в один прекрасный день — рыдания, вопли: муж внезапно умер, вырыгнул всего себя, остались только голова и шея — все остальное вытошнил в лохань. Вдова в отчаянии — и только под огнем перекрестного допроса выясняется, что в глубочайших тайниках души она скрывала противоестественную склонность к большому бульдогу, которого ее муж выпорол как раз перед тем, как вместе с женой лакомился малиной.

Или вот еще — в одном аристократическом семействе сын довел мать до могилы тем, что без устали раздражал ее, повторяя: «Сядьте, пожалуйста!» На суде он начисто отрицал свою вину. О, преступление такая немудреная вещь, что просто удивительно — как это столько людей умирают естественной смертью... особенно если тут замешано сердце, сердце — этот таинственный связной между людьми, подземный лабиринт между тобой и мной, этот всасывающе-нагнетающий насос, который с таким совершенством умеет высосать и так чудесно нагнетает... И только потом — траур, похоронные мины, достоинство скорби, величие смерти — ха-ха,— и все это лишь с той целью, чтобы «почтили» страдание и не заглянули бы случайно поглубже в то сердце, которое незаметно и жестоко убивало!»

Они сидели тихо, как мыши за метлой, не смея меня прервать! — куда же девалась со вчерашнего вечера их гордость?

Затем вдова бросает салфетку и бледная как смерть поднимается из-за стола. Руки у нее дрожат пуще прежнего. Я пожимаю плечами.

«Простите, я не хотел вас обидеть. Я говорю о сердце вообще, о сердечной сумке — в ней ведь так легко спрятать труп». — «Низкий человек!» — выкрикивает вдова, и грудь ее тяжело вздымается. Сын и дочь вскакивают из-за стола. «Дверь! — кричу я. — Хорошо — низкий! Но скажите пожалуйста — зачем в ту ночь была заперта дверь?!»

Пауза. Вдруг Цецилия раздражается нервным воющим плачем и, всхлипывая, произносит:

«Дверь — это не мама. Это я заперла. Это я!» — «Не-

правда, дочка, это я велела запереть дверь! Зачем ты унижаешься перед этим человеком?» — «Мама велела, но я хотела... я хотела... я тоже хотела запереть дверь, и я заперла». — «Простите, — говорю я, — минуточку... Как это? Ведь это Антоний запер дверь буфетной». — «О какой двери вы говорите?» — «Дверь... дверь в спальню батюшки... Это я ее заперла!» — «Это я заперла... Я запрещаю тебе так говорить, слышишь? Я велела!»

Как же так?! Значит, и они запирали дверь? В ночь, когда отец должен умереть, сын запирает на ключ дверь буфетной, а мать с дочерью запирают дверь своей комнаты!

«А зачем вы заперли свою дверь, — спрашиваю я грубо, — именно в ту ночь? С какой целью?»

Замешательство! Молчание! Они не знают! Опускают головы! Театральная сцена. Затем звучит возбужденный голос Антония:

«Как вам не стыдно оправдываться? И перед кем? Молчите! Идемте отсюда!» — «Тогда, может быть, вы мне скажете, зачем в ту ночь вы заперли на ключ дверь буфетной, отрезая слугам доступ в комнаты?» — «Я? Запер?» — «А что? Может, это не вы запирали? Есть свидетели! Это можно доказать!»

Снова молчание! Снова замешательство! Женщины, пораженные, смотрят на Антония. Наконец, словно вспоминая далекое прошлое, он беззвучно признается:

«Да, я запер». — «А зачем? Почему вы заперли? Может, из-за сквозняка?» — «Этого я не могу объяснить», — отвечает он с непередаваемым высокомерием и выходит из комнаты.

Остаток дня я провел у себя. Не зажигая свечей, долго мерил комнату шагами вдоль и поперек, от стены до стены. За окном опускались сумерки — островки снега все ярче выделялись в сгущающемся ночном мраке, дом со всех сторон черными скелетами окружали деревья со спутанными ветвями. Ох, уж этот мне дом! Дом убийц, ужасный дом, где свирепствует холодное, замаскированное преднамеренное убийство, дом душителей! Сердце?! Я давно понял, чего можно ждать от этого откормленного сердца и какое отцеубийство способно совершить это сердце,

ожиревшее от масла и семейного тепла! Знал, но не хотел говорить раньше времени! А как они кичились! Требовали знаков уважения! Чувства? Пусть лучше скажут, зачем они заперли двери!

Однако почему же я, имея теперь в руках все нити — оставалось лишь ткнуть пальцем в преступника, — почему же я, вместо того чтобы действовать, трачу понапрасну время? Загвоздка, загвоздка — белая шея, нетронутая и, словно снег за окном, тем белее, чем темнее вокруг. Совершенно очевидно — труп в сговоре с бандой убийц. Я еще раз поднатужился — и еще раз атаковал труп, теперь уже прямо в лоб, с поднятым забралом, называя вещи своими именами и определенно указывая на виновника. Это было то же самое, что бороться с табуретом. Как я ни напрягал воображение, интуицию, логику, шея оставалась шеей, а белизна — белизной с упорством, свойственным мертвому предмету. Так что мне не оставалось ничего другого, как до конца прикидываться и упорствовать в своем мстительном ослеплении, настаивая на бессмысленном вздоре, и ждать, ждать, наивно надеясь, что, коль скоро труп не желает, может быть — может быть — преступление само всплывет на поверхность, как масло. Я трачу понапрасну время? Согласен, но мои шаги гулко разносятся по дому, каждый слышит, как я беспрерывно расхаживаю, и они там, внизу, наверняка времени понапрасну не тратят.

Пора ужина миновала. Стрелки часов приближались к одиннадцати — а я все не выходил из комнаты, без устали обзывая их бездельниками и преступниками, торжествуя и одновременно тайно, из последних сил надеясь, что мои упорство и выдержка будут вознаграждены — что ситуация уступит многочисленным усилиям, разнообразным минам и жестам, моей одержимости и в конце концов перестанет сопротивляться. Достигнув крайней напряженности, она должна будет каким-то образом разрядиться, чем-нибудь разродиться, что-нибудь родить — уже не из области фикции, а нечто существенное. Как бы там ни было, вечно так продолжаться не могло: я — наверху, они — внизу, кто-то должен был запросить «пас», и все зависело от того, кто запросит первый. Было тихо и глухо.

Я выглянул в коридор, но снизу ничего не было слышно. Что они там делают? Живут ли обычной жизнью или, пока я тут торжествую в связи с этими запертыми дверьми, они там, порядком напуганные, в свою очередь совещаются, напрягают слух, ловят отзвуки моих шагов — не ленятся ли их души? Ах, с каким же облегчением я вздохнул, когда около полуночи услышал наконец шаги в коридоре и кто-то постучал.

«Войдите»,— сказал я. «Простите,— начал Антоний, садясь на стул, который я ему указал. Выглядел он неважно — землистое, бледное лицо,— и нетрудно было угадать, что связная речь в данный момент не явится его сильной стороной.— Ваше поведение... наконец ваши слова... Одним словом — что все это значит?! Или уезжайте... и немедленно! Или объяснитесь! Это шантаж!» — взорвался он.— «Наконец-то вы спросили,— сказал я.— Поздно! Да и спрашиваете вы слишком неопределенно. Что я, собственно, могу вам сказать? Ну хорошо — пожалуйста: ваш отец был...» — «Что? Что — был?» — «Задушен». — «Задушен. Так. Задушен»,— произнес он с каким-то странным удовлетворением. «Вы довольны?» — «Доволен».

Я подождал с минуту, потом спросил:

«У вас есть еще вопросы?» — «Но ведь никто не слышал ни криков, ни шума!» — «Во-первых, рядом спали только ваши мать и сестра, которые на ночь плотно закрыли дверь. Во-вторых, преступник сразу мог задушить жертву, которая...» — «Хорошо, хорошо,— прошептал он,— хорошо. Сейчас. Еще вот что. Вот что еще: кто, по вашему мнению... кого вы в этом...» — «Подозреваю — да? Кого подозреваю? Как вы думаете, как по-вашему — мог ли кто-нибудь снаружи проникнуть в дом, наглухо запертый, охраняемый сторожем и бдительными собаками? Вы, наверно, скажете, что собаки уснули вместе со сторожем, а входную дверь по забывчивости оставили открытой? Да? Роковое стечение обстоятельств?» — «Войти никто не мог»,— сказал он высокомерно. Он сидел выпрямившись, не двигаясь, и видно было, что — застывший — он презирает меня, презирает от всей души. «Никто,— подтвердил я охотно, свысока потешаясь над его гордыней.— Абсолютно никто! Так что остаетесь только вы трое и трое слуг. Но слугам путь был

отрезан, поскольку вы... неизвестно зачем... заперли на ключ дверь в буфетную. Или, может быть, вы теперь будете утверждать, что не запирали?» — «Запирал!» — «А зачем, с какой целью?»

Он вскочил с кресла.

«Не кривляйтесь!» — сказал я, и мое лаконичное замечание посадило его на место. Его гнев погас, парализованный, и он отрывисто проговорил, срываясь на пискливый тон. «Я запер... не знаю... машинально... — выдавил он с трудом и дважды прошептал: — Задушен. Задушен».

Нервная натура! Все они тут были нервные, глубокие натуры.

«А поскольку ваша мать и сестра также... машинально заперли дверь своей спальни (во что трудно поверить — верно?), остается... вы знаете, кто остается. Вы единственный, кто имел свободный доступ к отцу той ночью. Луна уже зашла, собаки заснули, и кто-то щелкает за лесом».

Он взорвался:

«И это доказывает, что... это я... что я... Ха-ха-ха!» — «А ваш смех должен доказать, что это не вы, — заметил я, и смех его судорожно оборвался на протяжной фальшивой ноте. — Не вы? Но в таком случае, молодой человек, — заговорил я тише, — объясните мне, пожалуйста, почему же вы не уронили ни единой слезинки?» — «Слезинки?» — «Да, слезинки. Так мне нашептала ваша матушка, да, да, в самом начале, еще вчера, на лестнице. Дело обычное для матерей, которые любят компрометировать и предавать своих детей. А сейчас, минуту назад — вы засмеялись. Вы доказали, что радуется смерти отца!» — произнес я с торжествующей тупостью, ловя его на слове, так что, выбившись из сил, он смотрел на меня как на слепое орудие пытки.

Однако, почуяв, что дело принимает серьезный оборот, он попытался, напрягая всю свою волю, опуститься до объяснений — в форме *avis au lecteur**, комментатора со стороны, который с трудом пробивался через его горло:

* предуведомления читателю (*франц.*).

«Это была... это ирония... Вы понимаете?.. Все наоборот... я умышленно...» — «Иронизировать над смертью отца?»

Он молчал, и тогда я доверительно прошептал ему в самое ухо:

«Чего вы так стыдитесь? Ведь в том, что ваш отец умер, нет ничего стыдного».

Вспоминая этот момент, я радуюсь, что проскочил его целым и невредимым, хотя, в общем-то, Антоний даже не шевельнулся.

«А может, вы стыдитесь, потому что любили его? Может, вы в самом деле его любили?»

Он с трудом процедил, как-то брезгливо, но одновременно с отчаянием:

«Хорошо. Если вы, конечно... если... пусть так... я его любил.— И, бросив что-то на стол, выкрикнул: — Вот, пожалуйста! Это его волосы!»

Действительно, то была прядь волос.

«Хорошо,— сказал я,— можете их забрать».— «Не хочу! Берите! Я их отдаю вам!» — «Ну зачем же так нервничать? Хорошо, вы его любили — согласен. Только еще один вопрос (потому что, как видите, я ровно ничего не смыслю в этих ваших романах). Признаю, этой прядью вы меня почти убедили, но, видите ли, одного я не могу понять».

Тут я снова понизил голос и прошептал ему на ухо:

«Хорошо, вы любили, но почему в этой любви столько стыда, столько пренебрежения?»

Он побледнел и ничего не отвечал.

«Столько жестокости, столько отвращения? Почему вы скрываете ее, словно преступник свое преступление? Вы не отвечаете? Вы не знаете? Тогда, может быть, я отвечу за вас. Вы любили, конечно, но когда отец разболелся... вы вскользь говорите матери, что ему необходим свежий воздух. Мать, которая, конечно же, тоже любит, слушает, кивает головой. Верно, верно, свежий воздух не помешает, и перебирается в комнату дочери, рядом — совсем близко, сразу услышит, если больной позовет. Что, разве не так все было? Может, вы хотите уточнить?» — «Нет, именно так».— «Ну то-то! Я, знаете ли, стреляный воробей. Проходит неделя. Однажды вечером мать с сестрой запирают

на ключ дверь спальни. Зачем? Один Бог ведает! Следует ли задумываться над каждым поворотом ключа в замке? Раз, два — повернули машинально, и по кроватям. Вот так — и одновременно вы запираете внизу дверь в буфетную. Зачем? Да разве возможно объяснить каждое свое мелкое движение? Это все равно что потребовать объяснения: почему вы в данную минуту сидите, а не стоите?.

Он вскочил, потом сел обратно и сказал:

«Да, все было именно так! Так и было, как вы говорите!» — «А потом вам приходит в голову мысль, что отец вдруг чего-нибудь потребует. А может — подумали вы, — мать и сестра заснули, а отец что-нибудь попросит. И тихо — зачем же будить спящих, — тихо идете в комнату отца по скрипучей лестнице. Ну, а когда вы уже оказались в комнате — дальше комментарии излишни, — тогда уже машинально пошло-поехало!»

Он слушал, не веря собственным ушам, но вдруг — словно очнувшись — выпалил с выражением отчаянной искренности, которую может породить только великий страх:

«Но я ведь вообще там не был! Я все время был у себя внизу! Я не только дверь буфетной запер, я и сам заперся на ключ — я тоже заперся в своей комнате... Это какая-то ошибка!» — «Что? — закричал я. — Вы тоже заперлись? Значит, вы все позапирались?.. Так кто же, в таком случае?..» — «Не знаю, не знаю, — потирая лоб, видимо пораженный, ответил он. — Я только сейчас начинаю понимать — возможно, мы на что-то надеялись, возможно, ждали чего-то, возможно, предчувствовали и... от страха, от стыда, — вдруг резко завершил он, — каждый заперся на ключ... будто хотели, чтобы отец — чтобы отец — чтобы он сам справился с этим!» — «Ах, значит, предчувствуя, что смерть приближается, вы заперлись на ключ от надвигающейся смерти? Так, значит, вы ждали этого убийства?» — «Мы — ждали?» — «Да. Но в таком случае кто же его убил? Ведь убитый налицо, а вы все только ждали, и никто чужой никоим образом не мог проникнуть сюда».

Он молчал.

«Но я действительно находился в своей комнате, —

наконец прошептал он, сгибаясь под тяжестью неопровержимой логики.— Тут какая-то ошибка». — «Так кто же его в таком случае убил? — спросил я деловито.— Кто же его убил?»

Он задумался — словно предъявляя жестокий счет совести,— бледный, неподвижный, со взглядом, устремленным внутрь под полузакрытыми веками. Увидел ли он что-нибудь там, в себе, в глубине? Что он увидел? Может, увидел себя встающим с постели и осторожно ступающим по предательским ступеням, с руками, готовыми к действию? И может быть, на миг охватило его сомнение, что — кто знает — так ли уж это было невозможно. Может быть, в эту секунду ненависть предстала перед ним как продолжение любви, кто знает (это всего лишь мое предположение) — не разглядел ли он в этот краткий миг ужасную двойственность любого чувства — ибо любовь и ненависть не что иное, как два лика одного идола. Это ослепляющее открытие, пусть мимолетное, должно быть (по крайней мере, в моей интерпретации), внезапно опустошило его — и он сам показался себе отвратительным, вместе со своей жалостью. И хотя это продолжалось всего минуту — оказалось достаточно: ведь уже с двенадцати часов он подвергался бессмысленному упорному преследованию и, должно быть, тысячу раз уже переваривал абсурдную мысль — он опустил голову, как сломленный человек, потом поднял ее и, глядя мне прямо в глаза, с невероятным ожесточением, четко произнес:

«Это я. Я «поехал»». — «Как это — поехал?» — «Я «поехал», говорю — как это вы сказали: машинально — пошло «поехало». — «Что?! Правда? Вы признаетесь? Это вы? Вы — правда? Действительно — вы?» — «Я. Я «поехал». — «А-а — ну конечно. И все дело не заняло больше минуты». — «Не больше. Минута — от силы. И то я не уверен, не много ли — минута. А потом я вернулся к себе, лег в постель и заснул, а перед тем как заснуть, зевнул и подумал — я хорошо помню, — что, хо-хо, завтра надо будет встать рано!»

Я был поражен — так он легко и гладко признавался во всем, даже не то чтобы гладко (голос у него все же хрипел), а скорее яростно, с каким-то странным наслаждением.

Невозможно было усомниться! И никто бы не смог придаться! Да — но шея, что делать с шейей, которая в спальне наверху тупо настаивает на своем? Мысль моя лихорадочно работала — но что может мысль против бессмысленности трупa?

Подавленный, я смотрел на убийцу, который словно бы ждал чего-то. И трудно мне это объяснить — но в ту минуту я понял, что остается одно: чистосердечное признание. Бесплезно продолжать биться головой о стену, то есть о шею — безнадежно дальнейшее сопротивление, напрасны любые уловки. И как только я это понял, сразу же испытал к нему глубокое уважение. Я понял, что зарпортовался, хватил через край, — и, вконец запутавшийся, едва дыша от перенапряжения, измученный собственным крикляньем, я вдруг почувствовал себя малым ребенком, беспомощным мальчиком, и мне захотелось покаяться старшему брату в своих прегрешениях и шалостях. Мне казалось, что он поймет... и не откажет в совете... «Да, — думал я, — ничего другого не остается, как чистосердечно признаться... Он поймет, он поможет! Он найдет способ!» Но на всякий случай я встал и сделал пару шагов к двери.

«Видите ли, — сказал я, и губы у меня слегка дрожали, — есть тут одна загвоздка... некоторое препятствие — в общем-то пустая формальность, ничего особенного. Дело в том, что... — я уже взялся за ручку двери, — что на теле, собственно, не видно никаких следов удушения. С физической точки зрения он вовсе не задушен, а умер от обычного сердечного приступа. Шея, понимаете, шея!.. Шея осталась нетронутой!»

Сказав это, я нырнул в приоткрытую дверь и чуть ли не бегом помчался по коридору. Вбежал в комнату, где лежал покойник, живо спрятался в шкафу — и с некоторой надеждой, хотя и с опаской, стал ждать. В шкафу было темно, тесно и душно, брюки покойника касались моих щек. Я ждал довольно долго и начал уже сомневаться — подумал, что ничего не произойдет, что я остался в дураках, что меня обманули! Но вдруг дверь тихо отворилась, и кто-то осторожно вошел — затем я услышал ужасные звуки, кровать в абсолютной тишине трещала, как беш-

ная,— *ex post* * были улажены все формальности! Затем шаги удалились.

Когда после долгого ожидания, дрожащий и вспотевший, я вылез из шкафа, скомканная постель носила на себе следы грубого насилия, тело было брошено наискось на смятую подушку, а на шее умершего четко виднелись отпечатки всех десяти пальцев. Судебно-медицинские эксперты, правда, кривились по поводу этих отпечатков, говорили, мол, что-то тут не так,— однако эти отпечатки, вместе с откровенным признанием преступника были признаны на процессе достаточно убедительными доказательствами.

* *postfactum* (лат.).

Пиршество у графини Котлубай

Трудно определить с полной уверенностью, что укрепило мои близкие отношения с графиней Котлубай,— разумеется, говоря о близких отношениях, я имею в виду ту ничтожную степень сближения, какая только и может существовать между знатной светской дамой, аристократкой до мозга костей, и человеком из кругов достойных, порядочных, но всего лишь мещанских. Я тешу себя надеждой, что, быть может, определенная возвышенность суждений, которую иногда удастся мне проявить в благоприятных обстоятельствах, глубокие воззрения и некоторая склонность к идеализму благорасположили ко мне привередливую графиню. Ведь я с детства ощущал себя мыслящим тростником, для меня характерна была тяга к возвышенным проблемам, и часто долгие часы проводил я в размышлениях над предметами высокими и прекрасными.

Таким образом, моя бескорыстная любознательность, благородство мышления и романтическая, аристократическая, идеалистическая, слегка анахроничная в наше время направленность мыслей открыли мне, как я предполагаю, доступ к птифурам графини и к ее легендарным бедам по пятницам. Она выступала патронессой на благотворительных базарах и преклонялась перед музами. Вызывала восхищение ее бурная деятельность на ниве милосердия — широко славились ее благотворительные чаепития, артистические five o'clock, на которых она выглядела словно некая Медичи, и вместе с тем всеобщее любопытство привлекала малая гостиная ее дворца: в этой замечательной малой гостиной графиня принимала только избранных, весьма ограниченный круг по-настоящему

близких людей, к которым она относилась с полнейшим доверием.

Но больше других славились у графини постные обеды по пятницам. Эти обеды служили ей, как она сама говорила, передышкой в полосе повседневной филантропии, были чем-то вроде праздника и воспарения.

— Я хочу иметь что-нибудь и для себя,— с печальной улыбкой сказала графиня, приглашая меня в первый раз, два месяца назад, на один из этих обедов.— Прошу пожаловать ко мне в пятницу. Немножко пения, музыки, несколько самых близких людей — ну и вы... и поэтому в пятницу чтобы не было даже намека на мысль о мясе,— она слегка вздрогнула,— об этом вашем вечном мясе, об этой крови. Слишком много плотоядности! Слишком много мясных испарений! Уж и счастья не видите, счастья — кроме как в кровавых бифштексах, уклоняетесь от поста — мерзкие мясные объедки вы пожирали бы непрерывно целыми днями. Я бросаю перчатку,— добавила она, изысканно щуря глаза, как всегда многозначительно и символично.— Я хочу доказать, что пост — это не диета, а пиршество духа!

Какая честь! Оказаться в числе десяти — пятнадцати знатнейших особ, которые удостоены чести посещать постные обеды у графини! Мир высшего света всегда притягивал меня и гипнотизировал, а тем более мир обедов. Возможно, тайной мыслью графини Котлубай было выстроить нечто вроде нового бастиона Святой Троицы против современного варварства (недаром кровь Красиньских текла в ее жилах) — должно быть, она следовала глубокому убеждению, что родовая аристократия призвана не только придавать внешний блеск балам и приемам, но и во всех областях, как духовных, так и художественных, силой своей высшей породы способна обеспечить себе духовную автаркию — то есть самоудовлетворение,— и посему для претворения в жизнь идеи подлинно возвышенного салона достаточно в любом случае создать салон аристократический. Это была мысль архаичная, несколько боговдохновенная, но, во всяком случае, в почтенном своем архаизме невероятно смелая и глубокая, каковой, безусловно, и следовало ожидать от наследницы древнего гетманского

рода. И действительно, когда за столом в античной трапезной, вдали от трупов и убийств, от миллиарда зарезанных волов представители стариннейших родов под предводительством графини воскрешали платоновские пиры — казалось, что дух поэзии и философии витает среди хрустала и цветов, и слова, будто зачарованные, сами складываются в рифмы.

Был среди гостей, например, один князь, который по просьбе графини взял на себя роль интеллектуала и философа, и делал он это так по-княжески, так красиво и благородно провозглашал идеи, что сам Платон, слышав такие речи, пристыженный, стал бы, пожалуй, с салфеткой за его стулом, чтобы менять тарелки. Была баронесса, которая взялась украсить собрание пением, хотя никогда прежде пению не обучалась, и я сомневаюсь, что Ада Сари на ее месте сумела бы извлечь из себя столько прекрасных звуков. Нечто невыразимо чудесное, чудесно вегетарианское, я бы сказал — роскошно вегетарианское было в той гастрономической умеренности, которая царила на этих приемах, а огромные состояния, смиренно склоненные над порцией кольраби, производили неизгладимое впечатление, особенно на фоне ужасающей плотоядности современных взаимоотношений. Даже зубы наши, зубы грызунов, ухитрились здесь утрачивать свою каинову печать... Что же касается кухни, то, безусловно, вегетарианская кухня графини не имела себе равных; необычайно насыщенным был вкус ее фаршированных рисом помидоров, а ее омлеты со спаржей отличались непревзойденной сочностью и феноменальным запахом.

В ту пятницу, о которой пойдет речь, я снова по прошествии нескольких месяцев был удостоен приглашения и, как обычно не без некоторой робости, въезжал на скромной пролетке под античный портик дворца, расположенного вблизи Варшавы. Но вместо ожидаемой компании я застал из гостей только двоих, к тому же отнюдь не самых знатных — дряхлую, беззубую маркизу, которая поневоле предпочитала овощи во все дни недели, а также одного барона — барона де Апфельбаума, происхождения весьма сомнительного: избытком миллионов и своей матерью — родом из князей Пстрычинских — окупал он от-

сутствие предков, а также свой одиозный нос. С самого начала я почувствовал почти неуловимый диссонанс... как бы некую дисгармонию... более того — суп из протертой тыквы — *spécialité de la maison* *, — суп из сладкой тушеной тыквы, который подали на первое, оказался против ожидания жидким, водянистым и малопитательным. Несмотря на это, я, разумеется, не выразил ни малейшего удивления или разочарования (такого рода проявления уместны где угодно, только не у графини Котлубай), а, напротив, с просветленным и исполненным благодати лицом отважился на комплимент:

Нельзя не восхищаться таким вкуснейшим супом,
К тому ж приготовлен он без убийства
и трупа.

Как я уже отмечал, на приемах у графини по пятницам стихи сами собой наворачивались на язык вследствие исключительной гармонии и творческого полета этих собраний — было бы просто бестактностью не переплестать рифмами периоды прозы. И вдруг (я пришел в ужас!) барон де Апфельбаум, который, как необыкновенно тонкий поэт и искушенный гурман, был особенным почитателем окрыленной гастрономии нашей хозяйки, наклоняется ко мне и шепчет на ухо с плохо скрытым отвращением и злобой, которой я никогда от него не ожидал:

Суп прославил бы Европу,
Если б повар не был...

Пораженный этой выходкой, я закашлялся. Что он хотел сказать? К счастью, в последний момент барон опомнился. Теперь все вокруг мгновенно совершенно преобразилось. Обед казался едва ли не призраком обеда, еда была скверной, и все повесили нос. После супа подали второе: постную сощую морковь с приправой. Я восхищался духовной силой графини! Бледная, в черном наряде, украшенном розовыми брильянтами, она отважно поглощала безвкусную пищу, заставляя следовать ее примеру. С присущим ей искусством графиня направила разговор в заоблачные выси.

* фирменное блюдо (*франц.*).

Грациозно помахивая салфеткой, она не без меланхолии продекламировала:

Пусть мыслей засияет высота!
Скажите — в чем таится Красота?

Я тотчас откликнулся, в меру жеманясь и сверкая манишкой из-под фрака:

Прекрасней всего Любовь, без сомненья,
Она озаряет нас вдохновеньем,
Нас, птичек, не жнущих, не сеющих злаков,
Нас, божьих овечек во фраках.

Графиня поблагодарила улыбкой за безукоризненную красоту моей мысли. Барон, словно породистый рысак, одержимый духом благородного соперничества, шевеля пальцами и рассыпая искры от драгоценных камней, с присутствием только ему мастерством обрушил на нас водопад рифм:

Красива и роза,
Красива — мимоза (и т. д.),
Но еще прекрасней — милосердие!
Смотрите — на улице беда!
Там дождь — не ходите туда!
Слякоть, ветер и сквозняки —
Ах, несчастные калеки и бедняки!
Да, слезы сочувствия — это дождь милосердия,—
Вот в чем секрет Красоты и благосердия!

«Ах, как великолепно вы это выразили! — восторженно прошамкала беззубая маркиза. — Чудесно! Милосердие! Святой Франциск Ассизский! У меня тоже есть свои бедняки, малые дети, больные рахитом, я посвятила им всю свою беззубую старость. Мы должны непрестанно помнить о бедных, несчастных...» — «Об узниках и о калеках, у которых нет денег на искусственные конечности», — добавил барон. «Об истощенных, изнуренных, престарелых учительницах», — с состраданием в голосе произнесла графиня. «О больных парикмахерах со вздутыми венами и о голодных шахтерах, страдающих ишиасом», — добавил я, растроганный. «Да, — сказала графиня, и глаза у нее заблестели и устремились вдаль, — да! Любовь и Милосер-

дие, два цветка — *goses de thé* * — чайные розы жизни... Но не следует забывать и об обязанностях перед самим собой! — И, подумав с минуту, перефразируя знаменитое изречение князя Юзефа Понятовского, она произнесла: — Бог мне вверил Марию Котлубай, и я верну ее только Ему!

Я священный огонь в себе разожгла,
Чтоб вера в идеалы не умерла!»

«Браво! Несравненно! Какая мысль! Глубокая! Мудрая! Гордая! Бог доверил мне Марию Котлубай, и я верну ее только Ему!» — закричали все, я же позволил себе лишь негромко пробренчать на струне патриотизма (учтя, что речь шла о князе Юзефе):

И помнить всегда — про Белого Орла!

Лакеи внесли огромное блюдо с цветной капустой, политой свежим маслом и дивно подрумяненной, — увы, на основании прежнего опыта можно было предположить, что румянец окажется чахоточным.

Вот каков был уровень бесед у графини — вот как протекало пиршество даже в неблагоприятных кулинарных условиях. Я тешу себя надеждой, что мое утверждение, будто самое прекрасное — это Любовь, относится не к самым плоским суждениям, думаю даже, что оно могло бы достойно увенчать не одну философскую поэму. Но тотчас же другой сотрапезник, предлагая цену *in plus* **, бросает афоризм, утверждающий, что Милосердие еще прекраснее, чем Любовь. Превосходно! И справедливо! Действительно, если задуматься глубже, Милосердие щедрее охватывает, надежнее укрывает плащом своим, чем самая возвышенная Любовь. Но и это не предел — графиня, наша мудрая амфитрионка, боясь, чтобы мы не растворились бесследно в Любви и Милосердии, напоминает о высоких обязанностях перед самим собой — и тогда я, тонко используя конечную рифму на «ла», добавляю лишь «Белого Орла». А формы, манеры, стиль изложения,

* чайные розы (*франц.*).

** на повышение (*лат.*).

благородная и изысканная умеренность пиршества ни в чем не уступают самим мыслям. Нет! — думал я с восхищением. Кто не бывал у графини на приемах по пятницам, тот, собственно, не знает, что такое аристократия!

«Отличная капуста», — вдруг промурлыкал барон, гурман и поэт, и в голосе его звучало приятное разочарование. «Действительно», — подтвердила графиня, подозрительно глядя в тарелку.

Что касается меня, то я не заметил в капусте ничего необычайного, она мне показалась такой же безвкусной, как и предыдущие блюда.

«Неужели Филипп?...» — спросила графиня, и глаза ее метнули молнию. «Это надо проверить!» — недоверчиво сказала маркиза. «Позвать Филиппа!» — приказала графиня. «Нет причин скрывать от вас, дорогой друг», — сказал барон Апфельбаум и тихо объяснил мне, не без тонкой иронии, в чем дело. Оказывается, в позапрошлую пятницу, не раньше и не позже, графиня случайно застала Филиппа, когда он подкреплял идею поста мясным бульоном и мясными приправами! Каков мерзавец! Я не верил своим ушам! Воистину, на такое мог решиться только повар! Ужасней всего то, что строптивый куховар не проявил, похоже, никакого раскаяния и имел наглость выдвинуть в свою защиту странный тезис, будто он «хотел, чтобы волки были сыты и овцы целы». Что он под этим подразумевал? (Кажется, раньше он был поваром у епископа.) Лишь когда графиня пригрозила ему немедленным увольнением, он поклялся, что больше это не повторится! «Растяпа! — гневно завершил барон свой рассказ. — Растяпа! Позволил поймать себя! Поэтому-то, как видите, многие сегодня и не пришли... гм... и если бы не эта капуста, боюсь, они оказались бы правы». — «Нет, — сказала беззубая маркиза, деснами жуя капусту, — нет, приправа не мясная... млям, млям... это не мясная приправа, скорее — *comment dirais je* * — просто необычайно живительная, наверно, в ней масса витаминов». — «Что-то пикантное, — заметил барон, изящно накладывая себе вторую порцию. — Что-то изысканно пикантное... млям, млям... но не мясное, —

* как бы это сказать (франц.).

добавил он поспешно, — абсолютно вегетарианское, такое пикантно-капустное. На мое небо можно положиться, графиня, что касается вкуса — я вторая Пифия!»

Но графиня не успокоилась, пока не явился повар — длинный, худой, рыжий тип с косящими глазами — и не поклялся памятью покойной жены, что капуста чиста и непорочна.

«Повара все такие! — сказал я сочувственно и тоже подбавил себе пользующегося таким успехом яства (хотя никак не мог заметить в нем ни одного выдающегося достоинства). — О, за поварами нужен глаз да глаз! — Не знаю, достаточно ли тактично звучали мои замечания, но я испытывал легкое возбуждение, словно во мне пенилось шампанское. — О, эти повара, эти колпаки и белые фартуки!» — «Филипп кажется таким порядочным», — проговорила графиня с оттенком печали и немного укора, протягивая руку к соуснику с маслом. «Порядочным-то, конечно, порядочным... — Я настаивал на своем, быть может, даже с излишним упорством. — И все же — повар... Повар — это, учтите, человек из простонародья, homo vulgaris *, а предназначен готовить изысканные, утонченные блюда — в этом кроется какой-то опасный парадокс. Хамство рождает изыск. К чему бы это?» — «Необыкновенный запах!» — сказала графиня, вдыхая расширенными ноздрями запах капусты (я не чувствовал никакого запаха) и не выпуская из рук вилки, напротив, проворно ею манипулируя. «Необыкновенный! — подтвердил барон и, чтобы не запачкаться маслом, повязал поверх манишки салфетку. — Еще немножко, графиня, если позволите. Я поистине ожил после того... гм... супчика... Млям, млям... Разумеется, поварам верить нельзя. У меня был повар, который как никто умел готовить макароны по-итальянски, я просто объедался ими! И представьте себе: захожу как-то на кухню и вижу в кастрюле мои макароны, которые шевелятся — просто кишат! — а то были черви — млям, млям, — черви из моего сада, которых мерзавец подавал как макароны! С тех пор я никогда — млям, млям — не заглядываю в кастрюли!» — «Вот-вот! — сказал

* человек обыкновенный (лат.).

я.— Вот именно! — И я говорил еще что-то о поварах, что они живодеры, мелкие убийцы, им все равно, что и как, лишь бы поперчить, приправить, приготовить, мысли не совсем точные и слишком резкие, но я что-то разговори́лся.— Госпожа графиня, которая никогда не прикоснулась бы к его шевелюре и пальцем, в супе может ненароком проглотить его волос!»

И я бы продолжал в том же духе, поскольку меня охватил приступ какого-то предательского красноречия, но вдруг я замолчал: меня никто не слушал! Я был потрясен, поражен необыкновенным зрелищем: графиня, неприступная матрона и патронесса, в молчании поглощала капусту, да с такой жадностью, что за ушами трещало. Барон энергично вторил ей, склонившись над тарелкой, шумно прихлебывая и чавкая от души, и старая маркиза старалась не отстать, перемалывая и проглатывая огромные порции, по-видимому в страхе, как бы у нее из-под носа не выхватили самые лакомые кусочки!

Эта неслыханная и неожиданная картина жрания — иначе я не могу выразиться,— *такого* жрания, в *таком* доме, этот ужасный диссонанс, этот малый септаккорд до такой степени потряс основы моего естества, что я не удержался и чихнул, а поскольку носовой платок я оставил в кармане пальто, вынужден был извиниться и встать из-за стола. В прихожей, опустившись на стул и неподвижно застыв, я пытался привести в порядок спутанные мысли. Только тот, кто, как я — и так же давно,— знал графиню, маркизу и барона, знал изысканность их движений, утонченность, сдержанность и деликатность в отправлении ими любых функций, и особенно функций, связанных с принятием пищи, неподражаемое благородство их облика,— только тот способен оценить ужасное впечатление, которое произвела на меня вышеописанная картина.

Взгляд мой случайно упал на экземпляр «Красного курьера», торчавший из кармана моего пальто, и в глаза мне бросился сенсационный заголовок:

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КАПУСТЫ
и подзаголовок:

КАПУСТЕ УГРОЖАЕТ ГИБЕЛЬ ОТ ХОЛОДА

а ниже — заметка следующего содержания:

«Конюх Валентий Капуста из деревни Рудка (имение достоправной графини Котлубай) обратился в полицию с заявлением, что убежал из дому его сын Болек, восьми лет, нос картошкой, волосы русые. Как установила полиция, мальчик убежал, потому что отец в пьяном виде порол его ремнем, а мать морила голодом (к сожалению, широко распространенное явление в эпоху господствующего кризиса). Есть опасения, что мальчик может замерзнуть насмерть, блуждая по полям во время осенней непогоды».

«Тссс,— зашипел я,— тссс...» — и посмотрел в окно — на поля, затянутые тонкой сеткой дождя.

Я вернулся в столовую, где огромное серебряное блюдо зияло голым дном с остатками капусты. В то же время живот у графини выглядел так, будто она была на седьмом месяце, барон прямо-таки вонзал в тарелку свое орудие еды, а старая маркиза неумоимо жевала, работая челюстями поистине, скажу я вам, как корова!

«Божественно, дивно,— повторяли они,— великолепно, несравненно!»

Окончательно сбитый с толку, я еще раз попробовал капусту — обдуманно и внимательно, но напрасно старался обнаружить в ней что-нибудь такое, что хотя бы отчасти объясняло неправдоподобное поведение почтенного собрания. Несколько пристыженный, я робко кашлянул.

«Что же вы в ней находите?» — «Ха-ха-ха, он еще спрашивает!» — громко захохотал барон и продолжал уписывать за обе щеки, находясь, очевидно, в превосходном расположении духа. «Неужели вы в самом деле не чувствуете... молодой человек?» — спросила маркиза, ни на секунду не прекращая процесс пережевывания. «Вы не гурман,— изрек барон с оттенком вежливого сочувствия,— а я... Et moi, je ne suis pas gastronome, je suis gastrosophe! *» И, если только мне не показалось, по мере того, как барон произносил французскую тираду, он раздувался, словно пузырь, так что последнее слово

* Я не гастром, я гастрософ (франц.).

«гастрософ» он буквально выстрелил из надутых щек с необыкновенным, прежде не присущим ему высокомери-ем. «Хорошо приготовлено, не спорю... очень вкусно, да, очень... но...» — проямлил я. «Но? Что — но? Вы действительно не почувствовали этого вкуса? Эту нежную свежесть, эту... млям... неопишущую сочность, эту... своеобразную остроту... этот аромат, этот алкоголь? Но, догогой мой (впервые с тех пор, как мы знакомы, он назвал меня так пренебрежительно: «догогой мой»), может, вы пгикидываетесь? Может, вы хотите огогчить нас?» — «Ах, оставьте его! — кокетливо вмешалась графиня, покатываясь со смеху. — Молчите! Ведь он все равно не поймет!» — «Вкус, молодой человек, впитывается с молоком матери», — ласково прошамкала маркиза, намекая, очевидно, что моя мать происходила из рода Птах,— вечная ей память!

После чего, оторвавшись от еды, все перенесли свои переполненные желудки в позолоченный будуар Людовика XVI, где, развалившись в воздушно-мягких креслах, продолжали хохотать, что называется, до упаду — без всякого сомнения, надо мной, как будто я и в самом деле дал повод для всеобщего веселья. Я не раз сталкивался с аристократами на ужинах и благотворительных концертах, но, честное слово, никогда не приходилось мне наблюдать подобное поведение: такой резкий переход, такую ничем не мотивированную перемену. Не зная, сесть ли мне или продолжать стоять, остаться серьезным или лучше *fair bonne mine a mauvais jeu* * и глупо улыбаться, — я сделал робкую попытку вернуть разговор к Аркадии, то есть к Прекрасному, то есть к тыквенному супу:

Возвращаясь к тому, что Прекрасно...

«Хватит, довольно! — закричал барон де Апфельбаум, затыкая уши. — Вот зануда! Давайте веселиться! *S'encanailler!* ** Я спою вам кое-что поинтереснее! Из оперетты!

Что за потешный новичок!

Совсем не смыслит он ни в чем!

Не то красиво, что искусно,

* делать хорошую мину при плохой игре (франц.).

** резвиться, развлекаться (франц.).

А то, что вкусно, вкусно, вкусно!

Теперь, надеюсь, понял ты —

Вкус! Вкус! Хороший вкус — вот признак красоты!»

«Браво! — закричала графиня, и маркиза вторила ей, обнажая десны в старческом смехе. — Браво! Cocasse! Char-pant! *» — «Но мне кажется, что это... это не так...» — про-бормотал я, и мой обалделый вид вряд ли соответствовал моему фрачному костюму. «Мы, аристократы, — маркиза любезно наклонилась ко мне, — в узком кругу исповедуем абсолютную свободу поведения и в эти минуты, как вы, может быть, слышали, употребляем даже иногда грубые выражения и бываем фривольными, а нередко и своеобразно вульгарными. Но не спешите падать в обморок! С нами изда-дво свыкнуться!» — «Не такие уж мы страшные, — добавил ба-рон покровительственно, — хотя нашу вульгарность труднее освоить, чем нашу изысканность!» — «Нет, нет, мы не страш-ные! — пропищала графиня. — Мы никого не едим живь-ем!» — «Никого не съедаем, за исключением...» — «Кро-ме!..» — «*Fi donc ***, ха-ха-ха!» — Они буквально взорвались смехом и стали швырять вверх вышитые подушки. Гра-финя запела:

Да, да,

Я вам клянусь:

Во всем необходим всегда

Хороший тонкий вкус!

Чтоб раки были хороши, помучить нужно их слегка,

Чтоб накопил солидный жир — чуть-чуть подразним индюка.

Вам губ моих известен вкус?

Но если — вот беда! —

У кого-то иной, чем у нас, вкус —

С тем не будем на «ты» никогда!

«Но, графиня... — прошептал я. — Горошек, морковь, сельдерей, кольраби». — «Цветная капуста!» — дополнил ба-рон, подозрительно закашлявшись. «Вот именно! — ска-зал я в полном замешательстве. — Вот именно! Капуста!.. Капуста... пост... вегетарианские... овощи...» — «Ну, так как же — вкусная капуста? А? Хороша? А? Надеюсь, до вас.

* Проказник! Очаровательно! (франц.).

** Фи! (франц.)

наконец, дошел вкус этой капусты?»

Что за тон? Сколько в нем покровительственности, сколько едва заметного, но угрожающего барского раздражения! Я начал заикаться, я не знал, что ответить, да и что тут можно возразить? — а как подтвердить? — и тут (о, я бы никогда не поверил, что столь благородная, гуманная личность, брат поэта, сможет до такой степени дать почувствовать, что барская ласка капризна, как майская погода!) — и тут, развалившись в кресле и поглаживая свою худую длинную ногу, унаследованную от княгини Пстрычиньской, он произнес тоном, который буквально уничтожил меня:

«Откровенно говоря, графиня, не стоит приглашать на обед субъектов, у которых вкус находится на столь примитивной стадии развития!»

И, не обращая больше на меня ни малейшего внимания, они продолжали, с бокалами в руках, перешучиваться между собой — так что я превратился вдруг в *quantité négligeable* *, — об Алисе и ее причудах, о Габи, о Буби, о княгине Мэри, о каких-то фазанах, о том, что этот — просто невыносим, а эта — *impossible* **. Рассказывали анекдоты и сплетни, с полунамеками, в высоком стиле, прибегая к таким выражениям, как «рехнулась», «фантастика», «невероятно», «гротеск», и часто употребляя вульгарные словечки, такие, как «сукин сын» и «зараза». Могло показаться, что подобная беседа является вершиной человеческих возможностей, и мне, неведомо каким чудом приниженному и отодвинутому в сторону как бесполезный предмет, с моей Красотой, человечеством и тому подобными темами, достойными мыслящего тростника, не с чем было открыть рот. Они пересказывали в нескольких словах какие-то загадочные аристократические анекдоты, неизменно вызывавшие новые взрывы веселья, а я — не зная их предыстории — мог лишь принужденно улыбаться. О Господи, что же это происходит? Какая внезапная и жестокая перемена! Почему они за тыквенным супом — одни, а сейчас — совсем другие? Неужели это я с ними в полной гармонии рассыпал гуманитарные блестяшки только что, за тыквенным супом? Откуда же

* ничтожную величину (*франц.*).

** невозможно (*франц.*).

появилось, так внезапно и без единого видимого повода, столько каких-то фатальных признаков отчужденности и холода, столько иронии, столько непостижимого, патологического стремления выставить на посмешище, откуда такая дистанция, такая отстраненность, что и не подступиться! Я никак не мог постичь эту метаморфозу, а слова маркизы «в своем кругу» напомнили мне о всяких ужасных сплетнях, которые ходили в нашей мещанской среде и которым я не верил: о двуличии и о скрытой, наглухо зашторенной от непрошенных взглядов жизни аристократии.

Не в силах больше вынести собственное молчание, которое с каждой минутой все глубже ввергало меня в чудовищную пропасть, я наконец обратился к графине ни к селу ни к городу, и голос мой прозвучал как неактуальное эхо прошлого:

«Простите, если помешал... Но вы обещали мне, графиня, сделать дарственную надпись на своих триолетах «Мелодии моей души». — «Что, как? — переспросила, не расслышав, развеселившаяся графиня. — А? Что? Вы что-то сказали?» — «Извините, ради Бога, вы обещали мне надписать свои стихи «Мелодии моей души». — «А, правда, правда», — сказала графиня рассеянно, но с присущей ей учтивостью. (Присущей — ей? Или другой? Или новой — настолько, что к щекам моим, поистине, без моего сознательного участия, прилила кровь.) Затем, взяв со столика томик в белом переплете, она небрежно черкнула на титульном листе несколько вежливых слов и подписала: *Графиня Похлебай*.

«Но, графиня!» — вскричал я, больно задетый столь грубым искажением исторической фамилии — Котлубай. «Ах, как я рассеянна! — воскликнула графиня среди всеобщего веселья. — Как я рассеянна!»

Мне, однако, было не до смеха. «Тсс... тсс...» — я чуть снова не зашипел. Графиня хохотала громко и высокомерно, одновременно ее породистая ножка выписывала на ковре самым обольстительным и соблазнительным образом разнообразнейшие завитушки, словно любуясь собственной художбой: вправо, влево, кругом; барон, склонившись в кресле, казался, готовился к великолепному *bon mot* *, его типичное

* острому словцу (франц.).

для князей Пстрычиньских маленькое ухо сделалось еще меньше, а пальцы впихивали в рот виноградину. Маркиза сидела со свойственной ей элегантностью, ее тонкая, длинная шея гранд-дамы словно еще больше вытянулась и своей несколько увядшей поверхностью как бы посматривала в мою сторону. Нужно добавить еще одну немаловажную подробность: за окнами под порывами ветра косые струи дождя словно тонкими прутьями хлестали по стеклам.

Может быть, слишком близко принял я к сердцу свое молниеносное и незаслуженное падение, может быть, также под его влиянием заболел манией преследования, характерной для человека из низших сфер, допущенного в порядочное общество, кроме того, определенные случайные ассоциации, определенные, так сказать, аналогии обострили мою впечатлительность, — может быть, не буду спорить... но на меня вдруг повеяло от них чем-то совершенно экстраординарным! И я не спорю — их изысканность, утонченность, любезность, элегантность, без сомнения, продолжали оставаться как нельзя более изысканными, утонченными, элегантными и любезными, но вместе с тем почему-то стали такими *удушающими*, что я склонен был допустить, будто все их прекрасные и гуманные достоинства взбесились, словно их злая муха укусила! Более того, мне вдруг показалось (это был, несомненно, эффект ножки, ушка и шеи), что и не глядя на меня, по-барски игнорируя меня, они, однако, видят мое замешательство и не могут натешиться им! И в то же время возникло во мне подозрение, что Похлебай... Похлебай — необязательно просто *lapsus linguae* *, одним словом, если выражаться ясно, Похлебай — это похлебай. Похлебай? Похлебай графиню? Да, да, сверкающие носки лакированных туфель еще больше укрепили во мне это подозрение! Кажется, они все еще продолжали потихоньку похихатывать над тем, что я не уловил вкус капусты, что для меня эта капуста осталась обыкновенным овощем, над тем, что, не сумев по-настоящему насладиться капустой, я проявил святое простодушие и выдал свою достойную снисхождения мещанскую природу, они посмеивались над этим исподтишка, но готовы были взорваться

* оговорка (франц.).

смехом, лишь только я обнаружу терзавшие меня чувства. Да, да, они игнорировали меня, не замечали и одновременно вскользь, отдельными аристократическими частями тела — ножкой, ухом, шейкой — провоцировали меня и искушали сорвать тайную печать.

Пожалуй, излишне говорить о том, насколько потрясло меня это потаенное искушение, это скрытое, нездоровое заигрывание со всем, что было во мне от мыслящего тростника. Я случайно вспомнил «секрет» аристократизма, эту тайну вкуса, тайну, которую не постиже никому, кто не является избранным, хотя бы он, как говорит Шопенгауэр, знал наизусть 300 параграфов *savoir vivre* *. И если даже и блеснула у меня на секунду надежда, что, разгадав этот секрет, я буду допущен в их круг и буду так же грассировать, в точности, как они, произносить «фантастика» и «рехнулась», то, помимо всего прочего, страх и опасение, что — надо уж признаться откровенно, — что меня отхлещут по щекам, совершенно парализовали мою жгучую жажду познания. С аристократами никогда ни в чем нельзя быть уверенным, с аристократами нужно держаться осторожнее, чем с прирученной пантерой. Некий мещанин, у которого княгиня Х. однажды спросила, как девичья фамилия его матери, обнаглев от кажущейся свободой, царившей в том салоне, и от благосклонности, с какой были приняты перед тем две его остроты, и считая, что может себе все позволить, ответил: «Я извиняюсь — Мотыль!» — и за это «я извиняюсь» (которое оказалось вульгарным) был тут же вышвырнут за дверь.

«Филипп, — думал я с опаской, — ведь Филипп поклялся!.. Повар — это повар, капуста — это капуста, а графиня — это графиня, и о последнем я бы никому не советовал забывать! Да, графиня — это графиня, барон — это барон, а порывы ветра и кошмарное ненастье за окнами — это ветер и ненастье, и детские ручонки во тьме крошечной, и спина, в синяках от отцовского ремня, под секущими струями дождя — это детские ручонки и спина в синяках, и не больше... а графиня — это, без сомнения, графиня. Графиня есть графиня, и только бы не дала по носу!»

* Умения жить (франц.).

Видя, что я пребываю в полной, прямо-таки паралитической пассивности, они, будто незаметно, подступали ко мне все ближе, все откровенней меня задевали и почти перестали скрывать свое желание потравить меня, словно зайца.

«Посмотрите-ка на его удивленную мину!» — воскликнула вдруг графиня, и они наперебой принялись насмешничать — мол, я, должно быть, безумно «возмущен» и «поражен», ведь в моих кругах, несомненно, никто не мелет подобный вздор и не безобразничает, там, мол, царят, конечно, более изысканные манеры, не такие дикие, как у них, у аристократов. Притворяясь оробевшими перед моей строгостью, они дурашливо препирались и донимали друг друга замечаниями, словно мое мнение было для них очень важно.

«Не говорите глупости! Вы чудовище! — воскликнула графиня. — Ужасный вы человек!» Хотя барон вовсе не был чудовищем и не было в нем ничего ужасного, кроме его маленького уха, к которому он не без удовольствия прикасался кончиками тонких костлявых пальцев. «Ведите себя прилично!» — вскричал барон (графиня и маркиза вели себя совершенно прилично). «Не молоть вздор — не разваливаться на диване — не болтать ногами и не класть их на стол!» (Избави Бог! У графини вовсе не было таких намерений.) «Вы оскорбляете чувства этого несчастного! Ваш носик, графиня, в самом деле слишком уж породистый! Смилуйтесь же!» (Над кем, спрашивается, графиня должна была смилостивиться и при чем тут ее носик?)

Маркиза молча роняла слезы радости. Однако то, что я, как страус, прятал голову в песок, все больше их вдохновляло, они, казалось, потеряли остатки осторожности, словно хотели, чтобы я непременно все понял, и уже не в силах были сдерживаться, и все прозрачней становились их намеки. Намеки? На что? Ах, конечно же, все на то же, и все яснее, все ближе и ближе кружили, все бесстыднее...

«Можно закурить?» — с преувеличенным смирением спросил барон, доставая золотой портсигар. (Можно ли закурить?! Господи, если бы я не знал, что на улице слякоть и дождь и на холодном, свирепом ветру так легко в любую минуту оконечеть от холода. Можно ли закурить?!) «Слышите, как хлещет дождь? — наивно прошамкала маркиза.

(Хлещет? Уж наверное, хлещет. Должно быть, отлично исхлестал кого-то.) — Ах, вслушайтесь в эти тук-тук отдельных капелек, вслушайтесь в эти тук, тук, тук, тук, послушайте, послушайте же, я вас прошу, эти капельки!» — «Ах, какое ужасное ненастье, какой жуткий ветер! — запричитала графиня. — Ах-ах-ах — ха-ха-ха — какая страшная завируха! Даже смотреть противно! При одном взгляде мне смеяться хочется и гусиной кожей покрываюсь!» — «Ха-ха-ха, — подхватил барон, — посмотрите, как струи великолепно стекают! Посмотрите на разнообразие арабесок, которые рисует вода! Смотрите, как грязь превосходно ползет, жирно липнет к стеклу и размазывается, совсем как соус «Цумберлянд», и как дождик хлещет, хлещет — отлично хлещет, и ветерок кусает, кусает — как он румянит, как он шиплет, как он прекрасно крушит и ломает! Даже слюнки текут, честное слово!» — «И правда — очень вкусно, очень, очень аппетитно!» — «С потрясающим вкусом!» — «Совсем как „котлет-де-воляй“!» — «Или как „фрикасе а ля Гейне“!» — «Или как раки с приправой!

И вслед за этими *bons mots* *, брошенными со свободой, присущей исключительно родовой аристократии, последовали движения и жесты, которые... значение которых я хотел бы — вжатый в кресло, неподвижно застывший — о, я хотел бы не понимать. Я уж молчу о том, что ухо, носик, шея, ножка доходили до исступления, до неистовства, но в довершение картины барон, глубоко затянувшись сигаретой, пускал в воздух маленькие голубые колечки дыма. Если бы одно, ну пусть два, ей-Богу! Но он пускал и пускал, одно за другим, сложив губы трубочкой, а графиня с маркизой хлопали в ладоши! И каждое колечко взмывало к потолку и таяло, изысканно извиваясь. Белая, длинная, змеевидная рука графини покоилась в это время на узорном атласе кресла, а ее нервная лодыжка вертелась под столом, злая, как гадюка, черная, ядовитая. Мне стало не по себе. Мало того, — клянусь, я не преувеличиваю! — барон зашел так далеко в своем бесстыдстве, что достал из кармана зубочистку и, задрав верхнюю губу, стал ковырять в зубах, да, в зубах — испорченных, богатых, густо усыпанных золотом!

* острыми словами (франц.).

Ошеломленный, совершенно не зная, что предпринять и куда бежать, я обратился с мольбой к маркизе, которая до сих пор была ко мне благосклонней других и за пиршественным столом так трогательно восхваляла Милосердие и детей, больных рахитом, и начал говорить что-то о милосердии, чуть ли не просить о милосердии.

«Вы,— сказал я,— которая так самоотверженно дарила свое благосклонность несчастным детям! Сударыня!»

Господи помилуй! Знаете, что она мне ответила? С удивлением посмотрела на меня выцветшими глазами, отерла слезы, вызванные чрезмерным весельем, после чего, словно опомнившись, сказала:

«А, вы говорите о моих маленьких рахитиках?.. Да-да, в самом деле, когда видишь, как они неуклюже передвигаются на своих кривых клешнях, как они едва тащатся и падают, то чувствуешь себя еще крепкой. Стар гриб, да корень крепок! В давние времена я ездила верхом, в черной амазонке и сверкающих ботфортах, на английских рысаках, а теперь — *hélas, les beaux temps sont passés* *,— теперь, когда уже не могу, потому что стара, езжу себе весело на моих маленьких, кривых рахитиках!» И она вдруг сунула руку вниз, а я отскочил, ибо, клянусь, она хотела показать мне свою старую, но прямую, здоровую, крепкую еще ногу!

«Господи Боже мой! — воскликнул я, еле живой.— А как же Любовь, Милосердие, Красота, узники, калеки, престарелые изнуренные учительницы...» — «Но мы помним о них, помним! — сказала графиня, смеясь, у меня даже мурашки по спине побежали.— Наши милые, бедные учительницы!» — «Мы помним!» — успокаивала меня старая маркиза. «Мы помним! — вторил ей барон де Апфельбаум.— Помним! — Я даже оцепенел от страха.— Наши дорогие, славные узники!»

Они не смотрели на меня — они смотрели куда-то в потолок, задрав головы, как будто только это и могло унять внезапные судороги их лицевых мускулов. Ха! У меня уже не было никаких сомнений, я наконец понял, где я нахожусь, и у меня стала неудержимо дрожать нижняя челюсть. А дождь все хлестал тонкими прутьями по стеклам.

* увы, хорошие времена миновали (франц.).

«Но Бог, есть же Бог на свете! — из последних сил просто-нап я, срочно пытаюсь найти какую-нибудь опору.— Есть же Бог»,— повторил я уже тише — имя Божие прозвучало так не а ргоров, что наступило молчание и на их враждебных лицах многообещающе отразилась допущенная мною бес-тактность,— я только ждал, когда мне укажут на дверь! «А как же,— через минуту произнес барон де Апфельбаум, повергая меня в прах своим неподражаемым тактом.— Бок? Бок есть — у барана, вкусный зажаренный бараний бок!»

Кто бы решился возражать? Кто не проглотил бы, как го-ворится, собственный язык? Я замолчал, а маркиза уселась за фортепиано, и барон с графиней пустились в пляс, и каждое их движение источало столько вкуса, такта, изысканности, что — ха! — мне хотелось бежать, но как же удалиться, не попрощавшись? А как попрощаться, если они танцуют? Я смотрел из угла, и поистине, никогда, никогда и не снилось мне такое крайнее бесстыдство — сплошное неприличие! Я не могу насиловать свою природу, описывая то, что происходило, нет, никто не вправе требовать от меня этого. Достаточно, если я скажу, что, когда графиня выстав-ляла ножку, барон отводил свою, много, много раз — и все это с абсолютно благопристойными минами, с таким выра-жением лица, словно этот танец — ничего особенного, так, обычное танго, а маркиза на фортепиано выделявала пассажи, арпеджио и трели! Но я уже знал, что это (они насильно втиснули мне в душу) — танец канибалов! Танец канибалов! Утонченный, изысканный, элегантный! Не хватало только идола, негритянского уродца с квадратным черепом, вывернутыми губами, круглыми щеками, расплю-щенным носом, благословляющего вакханалию откуда-ни-будь сверху. Но, бросив взгляд в сторону окна, я увидел за стеклами что-то именно в этом роде: круглую детскую мор-дочку со сплюснутым носом, со вздернутыми бровями, с торчащими ушами, исхудавшую, возбужденную и глядящую с таким космическим идиотизмом негритянского божка, с таким потусторонним восторгом, что на протяжении сле-дующего часа (или двух) я, как загипнотизированный, не отрывал глаз от пуговиц на моей жилетке.

А когда наконец на рассвете я вырвался на скользкие

ступени подъезда, в серый сумрак ненастного утра, я заметил под окном на клумбе лежащее среди засохших ирисов тело. Это был, конечно же, труп, труп восьмилетнего мальчика: нос круглый, волосы светлые, босой, исхудавший до такой степени, что можно бы сказать, до основания съеденный, лишь кое-где под грязной кожей остались кусочки мяса. Ха, так, значит, вон аж куда забрел несчастный Болек Капуста, привлеченный светящимися окнами, — ведь они издалека видны в размокшем поле. А когда я выбежал из ворот, откуда-то вдруг вынырнул повар Филипп в белом круглом колпаке, с рыжеватой щетиной и косящим взглядом, худой и изысканный, и, кланяясь с изяществом мастера кулинарного дела, который сначала режет курицу, чтобы затем под соусом подать ее на стол, лебезя и угодливо виляя хвостом, сказал:

— Надеюсь, вам пришлась по вкусу моя капуста!

Приключения

1

В 1930 году, в сентябре, следуя в Каир на пароходе, я упал в Средиземное море; упал с оглушительным всплеском — море в ту пору было спокойное и гладкое, ни единой морщинки. Однако мое падение было замечено лишь через минуту, когда пароход успел уже удалиться километра на полтора, а когда его наконец развернули и направили на меня, капитан, разгорячившись, развил слишком большую скорость, и гигант с разгону промчался мимо того места, в котором я захлебывался соленой водой. Еще раз повернули и нацелились, но и на этот раз пароход, миновав меня со скоростью поезда, остановился слишком далеко. Маневр этот повторялся раз десять, с необычным упорством. Тем временем подплыла большая частная паровая яхта и забрала меня на борт. Увидев это, мой пароход «L'Orient» * уплыл восвояси.

Хозяин, он же капитан яхты, приказал связать меня и затолкать в чуланчик под палубой — это за то, что, когда он при мне переобувался, я неосторожно не сдержал своего удивления при виде его белых ног. Хотя лицо у капитана было белое, я готов был побиться об заклад, что ноги у него должны быть черные как смола, и однако они оказались совершенно белыми! В результате он люто возненавидел меня. Он понял, что я проник в его физиологическую тайну, о которой никто, кроме меня, во всем мире не догадывался: он был белым негром. (В конце концов, если говорить честно, все это лишь послужило предлогом.) Восемь последующих месяцев яхта плыла без остановки, вперед и вперед, пересекая разные моря, задерживаясь исключительно для пополнения запасов топлива, и все это время

* «Восток» (франц.).

хозяин наслаждался безграничными возможностями произвола по отношению ко мне, запертому в темном чулане, постоянно в его распоряжении.

Разумеется, любая ненависть должна была очень быстро утонуть в этой бездне произвола, и если он все же обрек меня на мучительную смерть, то не столько для того, чтобы причинить мне страдания, сколько ради собственного наслаждения. Он долго изобретал, как при моем посредничестве испытать ощущения, на которые сам никогда бы не отважился, подобно одной англичанке, которая помещала червяка в коробок из-под спичек и швыряла в Ниагару. И когда меня наконец вывели на палубу, помимо страха я испытывал печаль, грусть, благодарность — вид смерти, который он для меня изобрел, оказался очень похожим на тот, который снился мне давно, еще в раннем детстве. С помощью специальных приспособлений, от описания которых я воздержусь, проделана была невероятно сложная работа — и в результате я очутился внутри большого стеклянного яйца, достаточно большого, чтобы я мог шевелить руками и ногами, но слишком маленького, чтобы сменить лежачую позу.

Толщина стекла равнялась примерно трем сантиметрам. На всей его поверхности я не заметил ни трещины, ни шва — в одном только месте просверлено было небольшое отверстие, очевидно, для воздуха. Возьмите большое яйцо, проткните его булавкой: это и будет яйцо, в котором я очутился, и я располагал в нем таким же пространством, как и зародыш цыпленка.

Негр показал мне карту Атлантического океана и отметил местонахождение яхты: мы находились приблизительно в центре океана, между Испанией и Северной Мексикой. Здесь стремится от Америки к проливу Ла-Манш, а затем вдоль северных берегов Англии и Скандинавии мощное течение Гольфстрим. Однако на карте видно, что на расстоянии тысячи миль от Европы Гольфстрим разделяется и южная его ветвь сворачивает вниз направо — уже как Канарское течение. После чего Канарское течение снова сворачивает вправо (на карте это влево) уже под названием Антильского — от Антильских островов, — и Антильское течение, опять-таки сворачивая вправо, соединяется с Гольф-

стримом, чтобы начать все сначала. Таким образом, эти течения образуют замкнутый круг от полутора до двух тысяч километров в поперечнике. Если с палубы нашего судна бросить в море обломок дерева, будьте уверены — через полгода или год, а может, через три года взбаламученные воды принесут его с запада в то же самое место, от которого он уплыл на восток.

— Мы оставим тебя здесь в стеклянном яйце, — так можно вкратце изложить смысл сказанного негром. — Никакая буря тебя не потопит, у тебя будет пакет с тремя тысячами бульонных кубиков, то есть, если сосать по одному кубику в день, питание на десять лет; еще оставляем тебе маленькое, но надежное приспособление для фильтрования воды... Чего-чего, а воды тебе хватит; напешься вволю, качаясь на волне и под волной, будешь кружить постоянно, произвольно в течение десяти лет; а потом, когда кончатся бульонные кубики и ты умрешь, твой труп будет вечно кружить по predetermined маршруту — все по кругу, все по кругу, все по кругу.

Они бросили меня в море. Яйцо сначала глубоко погрузилось, потом всплыло... Набегающая волна (а день был ветреный, пасмурный, море напоминало глубоко распаханное поле, оно мерно вздымалось с неустанно нарастающей силой) подхватила меня на свой оливковый пенящийся гребень, с минуту тяжело несла и затем с шумом и брызгами низвергла в пучину. Под водой было спокойно и все — зеленое. Однако лишь только я снова увидел мутное, серое небо, словно перст Божий надо мной, как отвесная водяная гора ввергла меня в бездну водоворота, на этот раз не меньше чем на минуту. Третья волна несла на себе яйцо спокойно и неторопливо — она обогнала меня, я спустился по ее убегающему склону и получил небольшую передышку в долине. Но потом пришла четвертая, пятая, шестая волна. Настоящая буря! Склоненные великаны, сгорбленные чудовища яростно вздымали меня на вершины, чтобы обрушить затем на самое дно пропасти! Но как бы там ни было, а утопить меня они не могли. Яхта негра следила за мной дня два или три и наконец, видно утомившись и пресытившись, уплыла.

Согласно полученному приказу, каждый день я высасывал

по одному бульонному кубику, запивал профильтрованной водой, которую набирал через резиновую трубку. Таким образом, я утолял желания тех, кто наблюдал море с многоэтажной высоты дымящих пароходов, не имея возможности принять в его жизни непосредственное участие. И трудно было установить какую-либо последовательность в этом вечном движении, никогда я не мог отгадать, поднимет ли меня вода, или поглотит, или только подтолкнет и отбросит, лицом или спиной обратит меня к небу, и также совершенно не замечал, что как-то продвигаюсь вперед, хотя и знал хорошо, что плыву на восток. Ничего иного вокруг не было — только горы и долины, грохот и брызги, маленькие гейзеры, случайные всплески, мчащиеся, кипящие, вертикальные стены, неведомо как исчезающие подо мною громады, великие вознесения, внезапные провалы — от убегающих гребней, вид с вершины и вид в долине, горы и доли, горы и доли, неустанная работа Океана. И в конце концов я сдался. Однажды я увидел, как одинокая балка, которая сопровождала меня много дней, на протяжении нескольких километров, медленно удаляется и исчезает в туманном, солью и мглой насыщенном пространстве. И мне захотелось кричать в моем яйце — я понял, что ее понесло к берегам Европы, тогда как я свернул вместе с южной веткой течения в сторону Канарских островов, чтобы навеки остаться в замкнутом кругу, все по кругу, все по кругу, все по кругу — негр хорошо рассчитал! Но вместо того чтобы кричать, я запел — стихия моря настраивала меня на пение.

На меня наскочил французский теплоход общества «Шаржер Рени», стекло разбилось, и меня выловили. Таким образом, мое путешествие закончилось. Но произошло это лишь спустя несколько лет.

Я высадился в порту Вальпараисо и немедленно пустился в бег — от негра, потому что знал наверняка, что он будет меня преследовать.

Что негр будет меня преследовать, было ясно как божий день, и вот почему: кто однажды испытал кого-нибудь так же, как он меня, или, точнее: кто хоть раз испытал удовольствие от такой забавы, тот уже никогда не сможет остановиться, точно тигр, отведавший вкус человеческого мяса. В человеческом мясе, безусловно, есть что-то такое, чего вы не обнаружите нигде — только в нем. Итак, я бежал через весь Американский континент и дальше на запад — и самым безопасным местом на земле мне казалась Исландия. Но надо же случиться такой незадаче: у меня не хватило сил выдержать взгляд таможенного чиновника в Рейкьявике, и я признался. Я никогда в жизни не занимался контрабандой, всегда смотрел таможенникам прямо в глаза и сам первый открывал чемоданы. И всегда уходил, заслужив их похвалу. Потому-то на этот раз моя нечистая совесть и не выдержала какого-то немого укора в чиновничьем взгляде, и я признался: хотя в моем багаже нет ничего запрещенного для ввоза, у меня не совсем все в порядке, и меня нельзя назвать абсолютно невиновным, поскольку я пытаюсь провезти контрабандой самого себя.

Чиновник не стал чинить мне никаких препятствий, но, вероятно, сообщил обо всем кому следует, потому что не прошло и двух дней, как явился негр и увез меня на свою яхту.

И снова я очутился в чулане под палубой и услаждал своей неволей распоясавшееся своеволие негра; он гнал яхту куда глаза глядят, не жалея ни угля, ни пара, а сам неутомимо напрягал мысль, решая сложную головоломку: какую судьбу из бесконечного множества судеб и какую точку из бесконечного множества точек на карте сделать моими. Что касается меня, то я воспринимал это совершенно естественно, то есть так, словно мне это было предназначено с самого рождения. В конце концов я знал, чем все кончится: наверняка не тем, что окажется для меня совершенно неизвестным и новым, а тем, что я знал, о чем слышал, о чем, быть может, давно мечтал. Когда наконец после долгих месяцев душного заточения на меня повеяло бодрящим морским воздухом, я увидел, что задняя палуба яхты прогибается под тяжестью

стального шара (или, точнее, конуса), по форме слегка напоминающего пушечный снаряд.

На это удовольствие он должен был выложить добрых несколько миллионов. Я сразу понял, что снаряд внутри пустой, в противном случае куда бы я поместился? Действительно, когда сбоку отвинтили люк, я, заглянув внутрь, увидел маленькую комнатку размерами с обычную небольшую каморку. Эту стальную комнатку, без всяких удобств и приспособлений, я приветствовал как *мою* комнатку. Однако несмотря на то, что стены снаряда были невероятной толщины, я не сразу понял замысел негра, и только когда он сказал мне, что мы находимся в Тихом океане, в точке, где глубина, самая большая в мире, достигает 17 000 метров, я все понял... но, хотя ужас пронзил меня от макушки до кончиков пальцев, все же я тайно усмехнулся уголками губ, здороваясь с давно знакомым, с давних пор известным, с издавна *моим*.

Да, я должен был стать единственным из живущих, который ощутит слабый удар снаряда о дно под нами, единственным живым существом, которое будет корчиться там, где не живут даже крабы. Единственным, кто будет погружен в абсолютную темноту, мертвое оцепенение и полную безнадежность. Словом, мне уготована совершенно исключительная судьба. Что касается негра, его, по-видимому, жгло любопытство (не его одного): что же там — внизу, его терзала мысль, что эта подводная страна останется для него навсегда недоступной, холодная, скалистая и чужая, вечный вызов его воле — в то время как он плывет по поверхности, она существует в глубинах сама по себе, совершенно независимо от него. Так что вовсе не удивительно, что он хотел *узнать*, и завтра об эту пору... завтра он действительно будет *знать*, сквозь семнадцать километров воды, что я корчусь там, на дне, и, ничем не выдавая этого внешне, будет обладать тайной глубины — запустив меня, как зонд, на самое дно...

Но когда я уже собирался войти в свою могилу, обнаружилось, что в расчетах допущена неточность и что собственная тяжесть снаряда, несмотря на толщину стен, недостаточна — он не уйдет под воду. В связи с этим негр приказал прикрепить к снаряду огромный крюк, на крюк навесить

цепь, а на цепи закрепить балласт, который потянет меня за собой, — балласт, рассчитанный таким образом, чтобы не слишком сократилось время погружения.

Негр последний раз показал мне карту — ему очень хотелось, чтобы, погибая, я хорошо видел точку, с которой обречен соединиться навеки. Меня поместили в снаряд и задраили люк. Наступила полнейшая темнота, снаряд резко встряхнуло — меня столкнули в море, и я начал погружаться. Но должен сказать, мои ощущения оказались совершенно не похожими на те, которых я ожидал. То есть я ожидал, что у меня возникнет в этот момент определенное отношение к действительности, но мрак и толщина стен снаряда, напротив, лишили меня способности воспринимать и осмысливать происходящее, я знал только, что погружаюсь, опускаюсь, что я тону, что я падаю и устремляюсь вниз. Скорчившись на стальном полу, я едва дышал. Но вот и легкий толчок — конец моего почти двухчасового путешествия! Толчок, подтверждающий, что я уже прибыл на место! Всепроникающим мозгом я видел, как сначала балласт ткнулся в дно, как потом снаряд по инерции ударился о балласт и как затем он немного поднялся вверх, натягивая цепь. Значит, наконец-то я оказался там, на самом дне, в самом потайном месте Атлантики, и оказался живым! — мог ногою прикоснуться к ноге! А наверху, прямо надо мной, на расстоянии семнадцати километров — негр, негр, наслаждающийся тем, что теперь он уже знает, что происходит на этом недосыгаемом дне, тем, что установил над ним свою власть, что запустил зонд, что холодное, чужое дно он согрел и получил во владение ценой моих мучений.

Но мои мучения постепенно дошли до того предела, когда я начал опасаться, как бы они не сделали невозможным ни страдание, ни обладание, превратив все в какой-то невероятный безумный танец. Я начал бояться, что мучения превратятся в нечто слишком уж нечеловеческое, чтобы негр мог извлечь из них какую-нибудь пользу. Не стану вдаваться в подробности. Вспомню только, что сразу же после окончательной остановки снаряда тьма, которая, как я говорил, с первой же минуты была абсолютной, все же сгустилась настолько, что я вынужден был укрыть

лицо в ладонях и, сделав это, не мог уже ни на секунду оторвать их — они приросли к лицу. Кроме того, мое сознание не выдержало страшного давления, ужасного гнета и напора, и я начал задыхаться — при относительно хорошем еще воздухе задыхаться, так сказать, мысленно — я задыхался заранее, еще дыша, а это, пожалуй, наиболее скверная форма удушья. Но хуже всего то, что мои судорожные движения, движения червяка, казались мне здесь, в изоляции, настолько безобразными в своей бесцельности, что мною овладел страх перед самим собой, и я не мог вынести собственных движений. Моя личность проклюнулась из этой ужасной подводной ямы — и как же отличалась она от той, какой казалась при свете дня или даже в данном случае можно так выразиться) при свете ночи, там, наверху, как же она обезобразилась! Моя бледность, которую абсолютная темнота, казалось, лишила красок и выражения, бледность, загнанная внутрь, ослепшая, онемевшая, закупоренная, в корне отличалась от любой бледности, хотя бы и самой кошмарной, но которую можно увидеть, и вставшие дыбом волосы, здесь, в железных оковах, под водой, были почти так же ужасны, как был бы ужасен в моем положении крик — крик, от которого я удерживался изо всех сил, потому что после него мне оставалось бы только немедленно сойти с ума, а этого я совсем не хотел.

Ах, мне просто не хватит умения рассказать, каким ужасающим становится наше Я, перенесенное в чуждую ему среду, или как теряет человеческое человек, которого употребили вместо зонда, и насколько потеря человеческого перевешивает любое зло, какое только может встретиться человеку. Но не о том в конце концов хочу я сказать — скорее я хочу описать способ, каким я все-таки выбрался из ловушки. Так вот, я начал вдруг — не выдержал больше — бросаться, метаться, подскакивать как можно выше и биться со страшной силой о стены (это, вероятно, входило в планы негра, спокойно ожидающего наверху), начал изо всех сил толкать, напирать, наступать на сталь, колотить в нее, корчиться, напрягаться и толкать, толкать, упорно добываясь результата. Бесплодное мое безумие все же вызвало, очевидно, какое-то

движение, какое-то шевеление снаружи. Не знаю, то ли цепь лопнула, возможно разъеденная ржавчиной, то ли она сорвалась с крюка, то ли развалился от слабого толчка небрежно закрепленный балласт, но неожиданно пришло освобождение, избавление, облегчение... Снаряд все быстрее мчался вверх и через несколько минут, вытолкнутый мощным давлением, выстрелил, словно пробка, вырвался на простор и взлетел в воздух на высоту не менее километра.

Вскоре я был освобожден из заточения и оказался на борту судна «Галифакс». Что стало с негром, я не знаю. Может быть, снаряд, падая, разбил его яхту, а может быть, вполне удовлетворенный тем, что произошло, он уплыл восвояси — вспоминать. Как бы там ни было, я надолго потерял его из виду. «Галифакс» зашел в Пернамбуко, откуда я направился в Польшу на отдых.

В это самое время огромный болид упал в Каспийское море, и оно в одну минуту целиком испарилось. Нагромождения разбухших, набрякших туч опоясали землю и висели над ней, угрожая вторым потопом; и лишь изредка солнце вырывалось из-за них пучками жарких лучей. Возцарилось великое уныние. Никто не знал, как загнать сонные громады туч обратно, туда, откуда они появились. Наконец нашелся кто-то догадливый и пощекотал одну из них, как раз приближавшуюся к опустошенному морю, — самую темную, дочерна фиолетовую, отвислую и грузную часть ее туши. И та разверзла свои хляби. Когда же она полностью истощилась, в небесную пустоту, образованную исчезновением тучи, начали наплывать другие тучи, и по очереди, уже механически, автоматически выливали они свои воды — и снова образовалось море.

3

Вернувшись к себе в деревню, я отдыхал, ходил на охоту, поигрывал в бридж, ездил по соседям с визитами... а в одном из соседних имений жила молодая особа, ко-

тору ю я бы с радостью нарядил в фату и в миртовый веночек. Все утихло. Негр, как я уже говорил, куда-то исчез, а может, и вовсе не существовал, кроме того, приближалась осень, падали листья, воздух с каждым днем становился свежее, хотелось к чему-то призывать, куда-то нестись, о чем-то мечтать и безумствовать. Из озорства я начал размышлять над конструкцией прогулочного аэростата, системы Монгольфьер. Вскоре аэростат мой был готов. Оболочку я сделал из специального непроницаемого полотна, очень легкого и прочного, а несущей силой служил нагретый воздух: внизу полотно было стянуто железным обручем таким образом, что оставалось довольно большое отверстие, в отверстие вставлена была обыкновенная керосиновая лампа, посаженная на железные подставки, прикрепленные к обручу. Достаточно было зажать лампу и слегка открутить фитиль, чтобы шар надулся и натянул канаты, соединяющие его с корзиной. Сложенная оболочка шара без труда умещалась в овине, а когда я наполнял его (что обычно продолжалось около часа), диаметр шара достигал тридцати—сорока метров.

Столь простое преодоление самой большой трудности, то есть использование маленькой лампочки для шара таких размеров, я приписываю, разумеется, не личным техническим способностям, а скорее некоей полусонной игре природы. Не скрою, однако, что, усевшись первый раз в корзину, я немного испугался при виде колосса, обретающего жизнь над моей головой, но это был колосс легкий, пустой внутри и кроткий, как ребенок.

Уже сам процесс нагревания аэростата, надувания огромного шара — напряжение канатов, нарастание упругости, шипение лампы — доставил мне большое удовольствие. Пришлось довольно долго ждать, пока воздух не расширится до необходимой степени. Но неожиданно аэростат начал наконец очень быстро подниматься. Я поскорее прикрутил фитиль, однако, несмотря на это, задержался лишь над самыми высокими деревьями моего сада. Ласковый ветерок нес меня прямоком к знакомой усадьбе. Я проплыл над лесом и рекой, над деревней, где восторженные зеваки приветствовали меня овациями и радостными воплями, и вскоре, с высоты 50 метров, увидел знакомую

усадыбу, знакомый и дорогой мне фасад с колоннами. Я прикрутил фитиль, и аэростат плавно опустился на траву, и дом рядом с ним казался детской игрушкой. Сколько смеху, похвал, комплиментов — мне и аэростату! Никогда не переживал ничего подобного! Все прервали вечерний чай, чтобы повосхищаться, затем пригласили меня на кофе с сыром и вареньем, а потом я взял в корзину единственного пассажира и посильней открутил фитиль.

Физическое наслаждение от этого полета состояло прежде всего в том, что шар был огромный и надутый, а еще в том, что: 1) можно было плыть над самыми головами людей, но вне досягаемости протянутых рук; 2) встретив на пути дом или дерево, можно было взлететь и тут же снова опуститься к земле; 3) аэростат, несмотря на свои размеры, был удивительно чутким, тихим, покорялся малейшим капризам воздуха, и мы в корзине были точно такими же, как он, позаимствовав его кроткую, детскую душу; 4) дуновение, которое другим лишь ласкало лицо, нас уносило, и неисповедимы были наши пути в пространстве; 5) мы летели без всякой машинерии, если не считать единственной керосиновой лампочки, даже без всякого газа — лишь полотно, канаты, корзина, мы и пространство, полотно, канаты, корзина и мы в пространстве; 6) а в-шестых и в-последних — прекрасная круглая *тень* скользила по траве. Однако лично мне пассажир аэростата доставлял еще больше радости, чем сам аэростат. Над лугами, полями и рощами мы познавали друг друга впервые в жизни, познавали непрерывно и все глубже, и так охотно она меня слушала, что я готов был тысячи раз целовать ее маленькое, внимательное и понимающее ухо. Но несмотря на то, что женщины, кажется, любят романтику, я умолчал о негре и о других моих приключениях — непонятный и жгучий стыд предостерегал меня: не говори слишком много.

Наступил день обручения, потом стал приближаться и день свадьбы. За все это время я ни разу не подумал ни о чем плохом, я гнал от себя всякие воспоминания, жил только ею и воздушным шаром, жил сегодняшним днем, разве что изредка забегал в будущее — взглянуть на ров-

ную спокойную дорогу счастья,— и даже дурные сны перестали мне сниться. Никогда... ни одного отклонения... ни одного даже беглого взгляда назад, к тому... что в конце концов когда-то действительно существовало... но провалилось в небытие... береза оставалась березой, сосна — сосной, верба — вербой.

Однако случилось вот что.

Однажды, за неделю до торжественного венчания в городской церкви, когда уже меня пронизывала тайная радостная предбрачная дрожь и со всех сторон сыпались поздравления и пожелания, вдруг пришла мне охота полетать на аэростате в бурную ночь. Я хотел только покачаться на крутых воздушных волнах, испытать острые ощущения — уверяю, у меня не было никаких иных намерений, никаких дурных желаний. Но вихрь подхватил меня с яростной силой (наверняка это был не вихрь, а негр собственной персоной), и, когда после долгих тревожных часов внезапно рассеялась завеса ночи, я глазам не мог поверить: подо мной плескалось Желтое море.

Я сразу догадался, что это конец, и все начинается... снова... и... и... ждет меня какая-то ужасная китайщина, и я попрощался навсегда с березами, соснами, вербами, а также со знакомым родным лицом и глазами и покорно распахнул себя навстречу мешанине из пагод, божков, мандаринов и драконов. Когда последняя капля керосина в лампе догорела, корзина опустилась на воду у берегов небольшого островка. Из зарослей неподалеку вышел китаец, крикнул, завидев меня, и побежал ко мне, но я жестом велел ему остановиться, потому что он (разумеется) был прокаженным. Китаец в нерешительности остановился, внимательно посмотрел на меня, извлек из себя какое-то неопределенное покашливание, словно бы выразил удивление, прикоснулся к своей отвратительной бугристой коже и затем повел меня к нескольким виднеющимся вдали жалким шалашам из тростника. По дороге он все время внимательно меня разглядывал, но я не очень понимал, что этот взгляд означает. Кое-что, однако, я уже предчувствовал... но все-таки шел за ним дальше. Однако когда мы оказались в поселке, кожа моя начала бить тревогу: натянулась, одеревенела, съежилась, обезумела от опас-

ности! В деревне все без исключения оказались прокаженными — и старики, и мужчины, и женщины, и девушки, и дети, кроме нескольких малышей, ярко выделявшихся своей гладкой кожей. Этот вид болезни, насколько я знаю, носит название *lepra anaesthetica* * или *lepra elephantiasis* **. Все тело у них было шершавое, бугристое, набухшее, в узлах и коросте, в матово-белых, коричневых или грязно-красных пятнах, в пуговичках и чешуйках, в утолщениях и отвердениях, в застарелых язвах. Но они не были смиренными и кроткими, как те их братья, которые в городах Азии криком предостерегают издали о своем мерзком присутствии. О нет, отнюдь, это надо признать сразу, они не имели ничего общего с кротостью и смиренностью! Совсем наоборот: они окружили меня плотным кольцом и проталкивались ко мне с таким любопытством и бесстыдством, так тянулись пальцами с ороговевшими корявыми ногтями, что я бросился на них с диким криком, угрожающе размахивая кулаками. Они моментально исчезли в шалашах. Я поскорее покинул деревню, но, обернувшись через несколько шагов, увидел, что они выползали из шалашей и на некотором отдалении толпой двигаются по моим следам. Я топнул. Они исчезли, однако через минуту появились снова.

Остров занимал не больше 15 квадратных километров и, можно сказать, был абсолютно безлюдным, а большую часть его поверхности покрывал густой лес. Я шел не слишком быстро, но все же не останавливаясь, не слишком нервно, но все же напряженно, не слишком паникуя, но все же слегка ускоряя шаг, потому что все время ощущал за спиной пятнистых уродцев. Я не оборачивался, я пытался притвориться, будто ничего не знаю, ничего не вижу, и только спина предупреждала меня об их медленном приближении. Я шел и шел... шел, меняя направления, как путешественник, как турист, как исследователь, то туда, то сюда, все торопливей, как человек, у которого срочное дело, но в конце концов места было не так много, и, исчерпав все не заросшее лесом пространство, я углубился

* лепра неэстетичная (лат.).

** лепра слоновья (лат.).

в густую чащу леса. Они значительно приблизились, подступили уже совсем близко, я слышал их шепот и шелест веток. Заметив бугристую кожу, крадущуюся за кустом, я круто свернул влево, отскочил, увидев в лианах нечто похожее на руку в состоянии острой elephantiasis *, и вышел на маленькую полянку. Они — за мной. Я снова топнул ногой — они отступили в чащу. Я пошел дальше — они следом, гурьбой, настырные, словно крысы, и шепот, тумачи, подталкивания локтями с каждым шагом становились смелее. Каждый мой волосок был натянут как проволока — что они во мне увидели, эти бугристые? Чего хотели? Женщинам это знакомо: когда разнузданная банда бездельников, наступая на пятки, преследует их с гнусными шуточками, а они убегают с опущенной головой, — вот так именно было и со мной, точь-в-точь...

Чего они хотели? Я еще не понимал, не сразу ухватил новую мысль, но ведь не зря я упомянул о сходстве — «точь-в-точь»... и если как следует вдуматься в обстоятельства, из которых я был вырван и перенесен сюда, на остров: предбрачный озноб, церковь и фата, — иначе и быть не могло... Словом, мне стало ясно, что я возбуждаю их, возбуждаю особым образом, и хотя мне не были понятны ни источник этого возбуждения, ни смысл их возгласов, их смеха, их мерзких шуточек, однако гнусность, извращенность, чувственность их намерений не оставляли никаких сомнений, и в голосе мужчин-уродин я слышал похотливую грубость, а в голосе женщин-уродок — ту патологическую жажду утехи, которую обычно среди человеческих существ любой расы на любых географических широтах могут безошибочно спровоцировать только две причины: невинность или незрелость... О, с проказой я бы еще смирился, но не с проказой и эротикой вместе, о нет, упаси Бог — только не с эротической проказой! Я бросился бежать как безумный. Они, увидев это, пустились, вереща, вслед за мною. Но не их слоновьи ножищами было состязаться с моим сумасшедшим паническим бегом! Я укрылся в развесистой кроне дерева, вооружился

* слоноподобный (лат.).

тяжелой дубиной и поклялся проломить череп первому же, кто приблизится.

И постепенно открывалась для меня адская комбинация — дьявольский смысл этой пытки... Мне открылся весь сложный механизм вероятности, которая любую фантазию воплощала в реальность. На остров лет двести или триста не заходило ни одно судно, он был забыт, как это случается иногда с такими маленькими плодородными островами. Аборигены острова — ни в нынешнем поколении, ни в поколении отцов — никогда не видели здесь чужого.

Да — но как понять их непристойное поведение, сладострастные шуточки, ужасную погоню и стремление задеть, толкнуть? О, нетрудно! Нетрудно — нужно только вникнуть в психологию духа моего негра, который всем этим управлял (а я в этом отношении имел уже немалый опыт). В незапамятные времена, не меньше чем за четыре поколения, их поразила проказа — и с течением времени они свыклись с нею, восприняли как особенность человеческой породы... Пятнистость была в их глазах такой же естественной для рода человеческого, как для бабочек — красочность; короста — такой же естественной, как гребешок у петуха. И понять человека без коросты, без язв им было бы не легче, чем нам кого-то, у кого нет ни единого волоска на коже. А поскольку дети рождались здоровыми, гладкими и чистыми, поскольку они уступали заразе лишь через несколько лет, и период, когда кожа начинала грубеть и шелушиться, совпадал с периодом созревания... приходился на время первого поцелуя... первых любовных чар... вот поэтому-то совершенно естественно, что, увидев меня до смешного гладким, совершенно не заросшим коростой, забавно стройным, ну каким-то попрыгунчиком с розовым личиком (о да — коросту, пятна, наслоения, звездобразные и веретенообразные бугорки они воспринимали так же, как краски у бабочки, как мы воспринимаем растительность, превращающую ребенка в мужчину), совершенно естественно, что они подумали то, что подумали. Естественно, что они старались задеть меня локтями, глумились, насмешничали и заигрывали, а когда заметили, что я их боюсь, что я сторонюсь их, пристыженный и сконфуженный, с радостью пустились в погоню: уродли-

вая зрелость преследовала ускользающую невинность, в силу того самого дьявольского закона, которому подчиняются мальчишки в школе!

Два месяца на этом острове я жил жизнью обезьян, прячась в дуплах деревьев, в густых зарослях и на вершинах пальм. Уроды устроили на меня форменную охоту. Ничто не могло развлечь их больше, чем та стыдливость, с какой я убегал от их прикосновений, они прятались в чаще, неожиданно выскакивали, мчались с похотливым и веселым ревом, и если бы не своеобразный *odor hircinus* *, если бы не неуклюжесть их выродившихся членов да не отчаянный страх, который умножал мои силы, я бы сто раз попался к ним в лапы. Но прежде всего если бы не кожа — кожа, которая съезживалась, стягивалась ежесекундно, без передышки, чуткая, потрескавшаяся, перепуганная, измученная, в вечной панике. Я стал весь — кожа, во мне ничего не осталось, кроме кожи,— с ней я засыпал и просыпался, она была для меня единственной, она была для меня всё.

Наконец я случайно обнаружил несколько бутылок с керосином, вероятно, с разбитого корабля. Мне удалось залатать воздушный шар — и я улетел... Но когда я снова увидел буки и сосны etc **, а также знакомые глаза, как мне следовало поступить? Как следовало поступить мне, что бы там ни было, но с гладкой кожей, без бугров, без пятен, без коросты, без шелухи и язв, совсем без всяких наростов?.. Что я мог поделать и мог ли я теперь — розовый, словно дитя — смотреть ей в глаза?

Ну, не мог так не мог, и я расстался с тем, что рассталось со мной... И в конце концов меня захватили новые приключения, о, приключений у меня всегда хватало. Помню, в 1918 году именно я прорвал немецкий фронт. Как известно, окопы подходили к самому берегу моря — это была целая система сухих глубоких каналов, которые тянулись непрерывно километров на 500. И только мне одному пришла в голову простая мысль: оросить эти каналы. Ночью я прокрался к берегу, прорыл канаву и соединил

* козлий запах (лат.).

** и так далее (лат.).

окопы с морем. Вода неудержимо хлынула, залила окопы на протяжении всего фронта, и удивленные войска коалиции увидели промокших до нитки немцев, выскакивающих в панике и в отблесках туманного утра.

На бриге «Бэнбери»

1

Весной 1930 года я решил совершить путешествие по морю — в личных целях, отдохнуть и окрепнуть. Но главная причина состояла в том, что положение мое на Европейском континенте с каждым днем становилось все более удручающим и сомнительным. Я обратился в письме к знакомому судовладельцу мистеру Сэсилу Барнетту из Бирмингема с просьбой, чтобы он устроил меня на какой-нибудь из своих кораблей, и сразу же получил краткий ответ по телеграфу: «*Береника* Брайтон 17 апреля пункт 9-а». Но в Брайтоне в порту на якоре стояло множество парусников и пароходов, чемоданы же крайне затрудняли свободу действий — одним словом, я опоздал почти на пятнадцать минут, и моряки и грузчики, как обычно, начали возбужденно кричать: туда, туда, скорее, еще догоните — скорей, скорей — торопитесь! Еще застанете! Я догнал «*Беренику*» на моторке, но уже без чемоданов. Мне спустили веревочный трап, по которому, в спешке не успев прочитать название, выведенное большими буквами на левом борту, я вскарабкался на палубу.

Это был большой трехмачтовый бриг, водоизмещением не менее 4000 тонн, и — как я заключил по расположению парусов и конструкции бушприта — следовал он в Вальпараисо с грузом шпротов и сельди. Капитан Кларк, поджарый морской волк с багровыми обветренными щеками, сказал непринужденно:

«Добро пожаловать на «*Бэнбери*», сэр».

Первый офицер согласился за небольшую плату уступить мне свою каюту. Но вскоре море начало вспучиваться, и меня одолела морская болезнь такой силы, о какой до тех пор я никогда не слыхивал. Я отдал морю все, что можно было отдать, и стонал, пустой, как порожняя бу-

тылка, не в силах больше удовлетворять требованиям стихии, которая домогалась от меня еще и еще... В физических и моральных мучениях, испытывая нестерпимую пустоту в желудке, я сожрал одеяло, подушку и штору — но ни один из этих предметов не оставался во мне дольше секунды. Я съел вдобавок постель и белье первого офицера, которые хранились в сундуке и были помечены буквами Б. Б. С., но и это все недолго погостило в моих внутренностях. Стоны проникали через стенку в каюту капитана, и, сжалившись надо мной, он приказал выкатить бочку сельди и бочку шпротов. Только к вечеру третьего дня, переведя три четверти бочонка сельди и полбочонка шпротов, я кое-как пришел в себя, и можно было остановить насосы, очищающие корабль.

Мы шли вдоль юго-западных берегов Португалии. «Бэн-бери» дрейфовал со средней скоростью 11 узлов, под благоприятным бейдевиндом. Матросы драили палубу. Я смотрел на убегающий скалистый берег Европы — прощай, Европа! — и чувствовал себя пустым, асептическим и невесомым, только в горле жгло. Я достал из кармана платок и взмахнул им несколько раз, на что маленький человек, стоявший в горном ущелье, в ответ тоже помахал рукой. Корабль резво бежал, вода бурлила у носа и за кормой, и всюду, куда достигал глаз, пенились барашки.

Матросы, надрав переднюю палубу, начали драить заднюю — их склоненные спины приближались ко мне, и я вынужден был подвинуться. Капитан на минуту показался на капитанском мостике и поднял палец вверх, предварительно облизнув его, чтобы определить направление ветра.

В тот же день, под вечер, произошло одно интересное событие (должно быть, оно служило предостережением), находившееся в определенной, до конца не установленной связи с моей недавней болезнью, так вот, один из матросов, некто Дик Гарти из Средней Каледонии, проглотил по невнимательности конец линия, свисающего с бизань-мачты. Вследствие, как я думаю, воздействия перистальтики пищеварительного тракта, он начал стремительно втягивать веревку в себя и, прежде чем успели спохватиться, въехал по ней, ужасающе распахнув пасть, на са-

мый верх, словно вагонетка фуникулера. Природа перистальтики оказалась настолько мощной, что никак невозможно было стащить матроса вниз; напрасно по два матроса повисли на каждой его ноге. Наконец после длительного совещания первому офицеру — его звали Смит — пришла в голову мысль применить рвотное средство, однако тут же снова возник вопрос: как ввести средство в пищевод, целиком заполненный веревкой? После еще более долгого, чем прежде, совещания решили ограничиться воздействием — через глаза и нос — на воображение. По приказу офицера один из матросов вскарабкался на мачту и подсунил пациенту под нос тарелку с кучкой отрезанных крысиных хвостов. Несчастный смотрел на них вытаращенными глазами, но когда к хвостам добавили маленькую вилку, ему вспомнились вдруг итальянские макароны из детства, и он съехал на палубу с такой скоростью, что едва не сломал ноги. Этот случай заставил меня задуматься, ибо, повторяю, он находился в определенной связи с моей болезнью, собственно говоря, это было не одно и то же, однако оба недомогания возникли на почве тошноты, с той лишь разницей, что его недомогание имело характер поглощающий, центростремительный, а мое совсем наоборот — центробежный. Тут имело место неправильное тождество, как в зеркале: правое ухо получается на левой стороне, хотя лицо одно и то же. Кроме того, крысиные хвосты тоже наводили на размышления. Однако я не сразу задумался над этим — так же как и над тем, почему корабль и спины матросов не кажутся мне такими уж чужими, как следовало бы ожидать, учитывая мое краткое пребывание на судне.

На другой день за ланчем я осведомился у капитана Кларка и поручика Смита насчет корабля и прогнозов на будущее.

«Корабль надежный», — доверительно ответил капитан, попыхивая трубкой. «Абсолютно!» — саркастически подтвердил поручик Смит. «А хоть бы и не абсолютно! — сказал капитан, властно меряя гордым взглядом морские просторы. — Хоть бы и не абсолютно! Допустим, где-то имеется щель!» — «Вот именно, — сказал первый офицер, глядя на меня вызывающе. — Хоть бы и не абсолютно.

Кто боится промокнуть, может в любую минуту покинуть корабль. Будьте любезны! — показал он на волны. — Мокрая курица! К такой-то... то есть... к черррт...» — «Господин Смит, — сказал капитан, ковыряя пальцем в ухе, — прикажите команде прокричать троекратно: «Да здравствует капитан Кларк, гип, гип, ура!»

Мы плыли дальше. Погода благоприятствовала нам. «Бэнбери» уверенно, на полном кливере, прокладывал путь, рассекая однообразные волны. На горизонте показалась морская корова. Матросы теперь до блеска надраивали медную оковку бортов. За ними присматривал второй офицер, а капитан выглядывал в окно каюты с зубочисткой в зубах.

Таким образом прошло несколько дней, на протяжении которых я знакомился с кораблем. Корабль был старый, сильно изгрызенный крысами, которые в огромных количествах плодились под палубой, местами бока были совершенно выедены, а на корме, словно в насмешку, полно было крысиного помета. В целом бриг напоминал старинные испанские фрегаты. Так или иначе, изобилие крыс не привело меня в восторг — у этих грызунов скверные привычки, их толстый хвост такой длинный и его острый кончик находится так далеко, что они теряют чувство своей с ним общности, вследствие чего постоянно подвержены мучительной иллюзии, будто волокут за собой аппетитный кусок мяса, совершенно посторонний и вполне годный, чтобы его сожрать. Это разрушает их нервную систему. Иногда они впиваются в хвост зубами, корчась и вереща, словно взбесившись от прожорливости и ужасной боли. Система и расположение такелажа, так же как и конструкция бакборта в целом не вызвали у меня одобрения, а когда я разглядел форму, размер и цвет вентиляционных труб, то, испытывая глубокое неудовлетворение, ушел в каюту и оставался там до самого вечера.

Меня удивляла команда. Я уж не говорю о стоицизме, с которым матросы до блеска драили одну часть корабля, совершенно не заботясь о том, что при этом заливают грязной водой другую часть, только что вычищенную. Но каждый раз, когда я отводил взгляд от моря и переводил его на бриг, меня поражало какое-нибудь неожиданное

зрелище. Однажды, например, я увидел четырех матросов, сидящих на палубе по-турецки и разглядывающих собственные ноги. В другой раз видел, как несколько матросов разглядывали свои руки. Вечерами же до меня долетали фразы, которые скандировались часами:

«Рыбы и морские птицы кормятся кораблем».

Великая *чистота* царила на судне, почти непрерывно в ход пускались вода и мыло. Когда я проходил мимо матросов, те не поднимали глаз — напротив, еще усердней склонялись над работой, так что я видел только согнутые в дугу спины. В то же время меня не покидало смутное ощущение, что как только я погружаюсь в созерцание горизонта, матросы начинают разговаривать, если, разумеется, поблизости нет никого из офицеров, — на суше я видел уличных дворников, которые точно так же отставляли свои метлы и шланги, когда никто на них не смотрел. Капитан с помощником преимущественно играют в домино или же, сидя друг против друга за столом, напевают старинные куплеты 1897 года — навигация при ровном и попутном ветре не доставляет никаких хлопот. Однако не все на бригае идет как по маслу. Спины матросов слишком изгибаются, когда я прохожу мимо, хребты кажутся перепуганными, а большие мужицкие лапы, которыми они вяло водят под собой туда-сюда, слишком быстро набухают и наливаются кровью. Встретив Смита, который слонялся по палубе, я выразил глубокую уверенность в том, что экипаж «Бэнбери» состоит исключительно из честных и мужественных парней.

«Я держу их вот этим, сэр, — ответил поручик, показывая мне зажатый в жилистой руке небольшой буравчик и давясь проклятиями, которые множились у него на кончике языка. — Я держу их за глотки... Самое трудное — это не пнуть кого-нибудь из них в зад, видите, как они сами подставляют. Ччеррт... свол... Но если пнуть одного, придется для ровного счета пинать всех без исключения, а это было бы глупо, глупо до... до... зарр... то есть это...». Он беспомощно развел руками. Его угнетало чувство собственного бессилия перед необычайным идиотизмом факта, и он выглядел, словно ушибленный обухом по голове.

Корабль движется, но монотонно, волна бежит за волной. На капитанском мостике я заметил слабый огонек трубки — это прохаживался взад-вперед капитан в прорезиненном плаще.

«Послушайте,— сказал он,— вы понимаете, что значит быть господином над жизнью и смертью? Хэлло, Смит, идите-ка сюда, посмотрите на него — ха-ха...» — «Ха-ха... — засмеялся Смит, взглянув на меня покрасневшими глазками,— папа и мама... К черт... то есть это...» — «Папа и мама,— повторил капитан, трясаясь от сдерживаемого смеха,— а здесь как раз ни папы, ни мамы! Здесь бриг, понимаете — бриг в открытом море! И никаких консульств!» — «Хрена с два,— с наслаждением выругался Смит.— Нету здесь ни пряничков, ни пирожных, к черт... я хотел сказать... это... дисциплина — и точка. Муштровать — и шабаш, ээ... В морд...» — «Ну, ну, хватит, хватит, Смит. В конце концов, господин Зантман — пассажир. Впрочем, не мешало бы и ему показать, что такое капитан в море, что означает это великое понятие — воплощение неисчислимых прихотей. Хи-хи, господин Зантман, наверно, представляет себе капитана в фуражке с галунами и в чистеньких белых отутюженных брючках, как рисуют на почтовых открытках. Придумайте что-нибудь интересное, Смит».

Он задумался, пыхнул несколько раз трубкой.

«Приказать, а? Если я прикажу скакать, будут скакать,— сказал он.— Завтра и послезавтра». — «Это уж было», — буркнул Смит. «Приказать — но что, Смит? Отрезать что-нибудь — прикажу отрезать ухо...» — «Можно,— согласился Смит.— Но это чертовски деликатная операция... то есть... гм... Потом. Хлопотно». — «Так что же — что приказать? Я все могу приказать! Тысяча чертей, я капитан! Эти мерзавцы должны почувствовать — позовите кого-нибудь из матросов». — «Да матросы уж все чувствуют», — помолчав, сказал Смит, не двигаясь с места. Он выплюнул на ладонь жвачку, внимательно посмотрел на нее и положил обратно в рот. «Выберите такого, который чувствует меньше других,— нетерпеливо настаивал капитан Кларк.— Да поживее, я хочу продемонстрировать господину Зантману... Придумайте что-нибудь, Смит. Какой вы тугодум. Вспомните Бэффинову Землю и тюленя». — «Я уж

и не знаю, что придумать,— сказал Смит, тупо глядя мутными глазами любителя джина.— Все уж использовано. Все уже использованы, задавлены, заср... то есть... это...»— «Ну и болван вы, Смит,— скривился капитан.— Живей, живей, я требую, чтобы кто-нибудь меня почувствовал. Иногда я сомневаюсь. Иногда меня одолевают сомнения».

В этот момент я некстати пошевелился — зачесалась пятка, это у меня врожденное: всегда чешется, когда не нужно.

«Может быть, использовать господина Зантмана»,— про бурчал Смит, посмотрев на меня с нескрываемым злорадством. «А знаете — неплохая мысль! — воскликнул капитан.— Используем господина Зантмана. Он еще свеженький. Еще не почувствовал меня — а лучше всего почувствовать меня на собственной шкуре... Правильно — так будет проще».— «Как прикажете, капитан,— сказал Смит, нежно взял меня за руку и сжал, как в тисках (точно так же однажды на суше взял меня за руку один сержант — сначала нежно, а потом чуть не сломал).— Смастерим большую удочку, насадим на крючок господина Зантмана и поймаем на эту приманку здоровенную глубоководную рыбину. Рыба проглотит господина Зантмана, а мы вспорем ей брюхо и вытащим его еще живого, как Иону. Вот это будет номер. Ба, ба, а помните, господин капитан, не такие еще штучки откалывали мы в Караибском заливе — хо-хо...» — «Болван,— повторил капитан.— Это все — чепуха. Что он так может почувствовать? Ничего он не почувствует. К тому же он пассажир... гм... И без грубостей, Смит, без грубостей. Молчать, болван! — проревел он.— Я уже сыт по горло вашими «номерами», вашими штучками, честно говоря, меня уже тошнит от них! В них ни на грош смысла. Я требую, чтобы он почувствовал, чтобы он понял капитана Кларка — каков я есть, без фигового листка и без всяких там приложений, как Господь Бог меня сотворил! Плевать я хотел на белые отутюженные панталоны и на капитанскую фуражку с галунами! Я желаю раздеться, я хочу быть голым,— понимаете! — голым и мохнатым! А разве поймет меня господин Зантман после этого вашего идиотского Ионы, меня, меня,

Кларка, когда я разденусь?!» — «Нечего нам тут стесняться, — забормотал Смит, рот у него был забит жвачкой. — Тут у нас институток нет. И консульств тоже нет!» — «Он не почувствует меня, — сказал капитан задумчиво. — Ну а если я не разрешу ему застегивать подвязки? Если я не разрешу ему застегивать подвязки, Смит, и он будет ходить со спущенными носками? Что тогда? Тысяча чертей! Вот тогда он поймет меня, тогда он будет знать, кто я, потому что нога — мохнатая! Тысяча чертей! Эти сухопутные крысы со своими белыми портками и цветными открытками забывают, что ноги у капитана — мохнатые! Поживее, господин Зантман, слышите? Живо! Живо!» — «Живо, эй, вы!» — повторил Смит и стиснул мне руку. «Вот это я люблю, — сказал капитан через минуту, уже спокойнее. — Я вижу, с вами можно договориться, господин Зантман, хоть вы и не ходите вразвалочку. Был тут у нас пару лет назад один такой, крыса сухопутная — безнадежный тупица. Пришлось спровадить его прямо в воду, потому что, когда я велел ему — так, безделица — поднять воротник пиджака, он визжал, как резаный поросенок, а мы, моряки, знаете ли, не любим поросычьего визга». — «Я думаю, достаточно, — сказал я, когда Кларк ушел, оставив меня наедине с поручиком. — Думаю, теперь уже можно пристегнуть носки», — добавил я доверительно-льстивым тоном, подразумевающим тактичную терпимость к примитивным чудачествам капитана, желая уладить дело полюбовно. «Что? — сказал Смит, отступая от меня на расстояние вытянутой руки. — Что? Что это вы вздумали? Я вам не советую — не советую, даже когда вы останетесь один в каюте. Вот так-то! — грозно прорычал он, я даже гусиной кожей покрылся. — Умник какой выискался! Заразз... засрр...»

Я смутился и, покраснев по самые уши, пробормотал:

«Да нет, нет, нет... я только так... Да, да — что вы? Ничего подобного!» — совсем как в трамвае или на пикнике...

Мы плывем дальше, погода чудесная, небо прозрачное, кое-где среди серебристых и изумрудных волн появляется скат или рыба-пила, стая акул волочится за кормой, маленькие рыбки летают над водой, но корабль движется все медленнее, как бы раздумывая, не остановиться ли

ему окончательно, а команда под присмотром неутомимого второго офицера, отмыв наветренную сторону брига, возвращается с тряпками на подветренную. Второй офицер — это молодой человек чуть старше двадцати, прилежный блондин с невыразительным лицом, не допускающим никакой фамильярности. В принципе, он существует только *pro forma*, затем, чтобы существовал первый офицер. Капитан и Смит почти все время проводят в каюте, поскольку море спокойно. Прохаживаясь по палубе, я вижу их через окошечко сидящими за столом и целящимися во что-то маленькими шариками из какого-то вещества — по-видимому из хлеба. Кажется, их порядочно донимает скука — иногда они дико скандалят и ругаются, должно быть сами не зная из-за чего. Смешивают коктейли из ликеров, приправляют виски имбирным корнем. Время от времени экипаж по сигналу начинает скандировать: «Рыбы и морские птицы кормятся кораблем». В последнее время я стал замечать, что матросы проделывают странные телодвижения — склонившись над тряпкой, внезапно опираются на руки, вытягивают ноги и выгибают спины, как это делают земляные черви.

Однако я ни у кого не прошу никаких объяснений. Я квалифицировал это просто как «оригинальный способ убивать время». По правде говоря, я вообще избегаю разговоров, так как заметил, что линия грот-реи странным образом изгибается буквой S. На букву S начинается одно слово, которое я сам придумал и которого я предпочитал бы не знать. В конце концов дело не только в этой букве — и без этого на корабле есть и другие неприятные формы и линии: весь он потрескался от жары. Так что вовсе не я затеял разговор со Смитом — Смит сам подошел ко мне, когда я стоял, опершись о борт, и прямо в лоб спросил, не знаю ли я какие-нибудь интересные игры в карты, в кости, любые другие — или какие-нибудь забавные загадки, шарады?

Первое — Мать, второе — Отец,
Ну, а третье и будет конец.

«Мы уже играли в домино, в дурачка, в три карты и в чижику, пели по очереди старинные куплеты из оперетт. Потом смотрели календарь коневодства. Последние дни,—

откровенно признался он, глотая ругательства,— мы бросали хлебные шарики в проклятого маленького червячка, которого вытащили из-под шкафа. Но все это нам обрыдло. Потом (поскольку мы всегда садимся за стол друг против друга) начали играть в гляделки — знаете? — пристально смотреть глаза в глаза, кто дольше выдержит. А после уже начали колоть друг друга булавками — тоже кто дольше выдержит. Теперь не можем остановиться, колемся все сильнее. Капитан — тык, и я — тык, по очереди. Может, вы что придумаете, может, знаете что-нибудь интересненькое, господин Зантман? Я уже весь исколот».

Я забылся и неосторожно сказал:

«Это все потому, что у вас образовался своего рода закодированный круг и нет выпускного клапана. Булавке нужна подушечка — возьмите подушечку для булавок и положите ее на стол между собой». Смит, раскрыв рот, смотрел на меня с уважением. «Вот зараззз... Господин Зантман! Мы вас принимали за желторотого, а вы, я вижу, старый моряк. Да у вас громадный опыт!» — «Нет, нет, избави Боже! Я вас уверяю... Это совершенно случайно... Что вы, что вы, господин Смит! Я на вас рассержусь. Даю вам слово, я первый раз в море!» — бормотал я, мучаясь и стыдясь. «Вы чертовски старый моряк! — повторил поручик, кланяясь мне. — Но-но, не надо! Не прикидывайтесь дурачком! Вы, должно быть, вволю наплавались по этим проклятым лужам, и по Красным, и по Желтым, и по Охотским, и по Саргассовым, и по Китайским, и по Арабским. Вы — не плавали? Ба, ба, да у вас нюх, как у старого морского волка, вы сразу попадаете, как говорится, в самый корень проблемы! Подушечка — ну, конечно! Гениальный совет! Как только положим подушечку, сразу же перестанем тыкаться». — «Простите, но я вспомнил, что оставил в каюте зажженную спиртовку, кофе может выкипеть — простите, господин Смит».

Около четырех пополудни я наблюдал за игрой пеликанов с глубоководными рыбами. Прилетели два с юго-запада и начали кружить над кораблем. Пеликаны — это такие большие снежно-белые птицы с большим зобом и с клювом метровой длины, чрезвычайно острым. Разумеется, они даже не мечтают одолеть и сожрать акулу или кита,

но их будоражит абсолютное превосходство над морскими гигантами — ведь ни акула, ни кит не умеют летать. Будоражит и не дает покоя. Поэтому они тихо планируют и — бац — вонзают острый, как кинжал, клюв в спину глубоководной рыбе, которая уходит под воду или мечется, пытаясь выскочить и погнаться за пеликаном в недоступную воздушную стихию. Матросы прервали работу, чтобы поглазеть, чем навлекли на себя ужасную брань Смита.

«Бездельники! — орал он на молчащих, сбившихся в кучу матросов. — Гляньте на них, какие они благородные! Благородные господа! Томпсон, ты хуже всех, ты у меня на заметке, ты скотина, Томпсон! Я с тобой поговорю сегодня вечером! Я с тобой — Томпсон — поговорю — сегодня — вечером — посмотришь!»

Потом он разоткровенничался со мной насчет экипажа — это, мол, все старые пройды, обжоры, бродяжки, собранные из всяких портов, их, мол, всех нужно покрепче держать за глотку.

«Они только и знают, что отлынивают от работы да лежат кверху брюхом. Есть среди них, например, некий Томпсон, этот — хуже всех». — «Хуже всех?» — «Томпсон? Да это пиявка. Вы обратите внимание на его рот — он у него всегда сложен, как рыльце, будто сосать собрался. Маскируется, работает, как все, но я поклялся, что всыплю ему при первом же случае, и я ему всыплю сегодня же вечером. Он у меня обделается со страху». — «Рот, — сказал я примирительно, — это, наверно, потому, что он млекопитающее. Все мы — млекопитающие. Мы принадлежим к классу млекопитающих».

Я осторожно выразил свое недоумение по поводу странных телодвижений, рассматривания ног и декламации: «Рыбы и морские птицы кормятся кораблем». Говорил я осторожно, соблюдая чувство меры, но все же заметил, как бы мимоходом, что, мол, через край нальешь, через край и пойдет. На это Смит отвечал, что, должно быть, я, старый моряк, издеваюсь над ним. Ведь с китайцами в восточноевропейских водах и не такое происходит. Или на линии Порт-Аден — Пернамбуку, где, как правило, употребляют растопленный стеарин. Телодвижения вырабатывают гибкость позвоночника, а рассматривание ног — это

наказание тем, кто не соблюдает чистоту: у кого грязные ноги, тот должен разглядывать их целый час. Что касается фразы «Рыбы и морские птицы кормятся кораблем», то она звучит как образец каллиграфии, и, по существу, задача в том, чтобы выписать ее в мозгу у матросов жемчужным рондо.

Такой бриг, как наш, плывет сам, без чьей-либо помощи, только бы не шторм. Не могут же матросы драить непрерывно эту черрт... дьявол... палубу, а то бы продраили ее насквозь. А дисциплина должна быть железной, этих бездельников надо держать в узде, ну так капитан выбрал именно это, а не что-нибудь другое.

«Да, уж лучше это, чем что-нибудь другое». — «О, капитан тоже старый опытный моряк, морской волк, что называется. Вам нужно поближе с ним сойтись, господин Зантман, наверняка вам обоим есть что порассказать друг другу. Старик не раз говорил мне, — фамильярно продолжал Смит, — «господин Смит, каковы обязанности капитана на корабле? Капитан должен постоянно изгиляться, иначе все сбесится от скуки. Вы, господин Смит, должны изгиляться глоткой, а я должен изгиляться головой, вот и вся разница между нами. А теперь как мне изгиляться, господин Смит? Что придумать? Мы ведь не можем, черт побери, играть в мячик, Смит. Мы ведь, разрази меня гром, не дети, Смит, в коротких штанишках». — «Хм, хм — значит, игра в мяч — детская игра, а эти... хм, хм... ноги... не детская», — сказал я покашливая. «Точно, — ответил Смит спесиво, — ноги — не детская, у кого из нас нет мозолей? К тому же это поддерживает дисциплину в экипаже. Они всё обязаны исполнять без разговоров. То же самое и булавка — ей-бо!... Это было какое-то безумие, идиотизм, мы словно взбесились. Как вам это нравится, господин Зантман? Ну, ну! Вы, как опытный моряк, не можете не согласиться со мной. И вот так всегда и везде. Без этого мы бы сдохли от скуки».

Он облизал палец и подставил его под ветер.

«Тем более что ветер падает, и нам, кажется, грозит полный штить. К черрт... дьяв... заррр... холерр... Всегда так. Знаете поговорку: вода и скука — стихия моряка».

Под вечер я наблюдал за толстой камбалой, а также заметил голову акулы-молота — в каких-нибудь трех-четыре-х дюймах от поверхности.

На капитанском мостике появился капитан Кларк и помахал мне рукой. По-видимому, Смит насплетничал ему о подушечке и наплел, что якобы я старый моряк, — теперь капитан относился ко мне совсем иначе, чем прежде, казалось даже, будто он хочет изучить меня поглубже. Думает, верно, будто я знаю что-то такое, чего он не знает, либо просто умею как-то так устроиться, что ничего меня не беспокоит. Когда я взобрался на мостик, Кларк сказал:

«Скучно. Морская скука». — «Гм», — ответил я. «Неприятная вещь — скука. А? Скверная. Скучно. Неизвестно почему». — «Терпеть можно, — сказал я. — Не так уж и скучно. Есть вода — рыбы...» — «Э-э, Смит мне говорил, — ласково сказал капитан, подтолкнув меня локтем. — У вас, видно, есть какие-то средства от скуки, вот вам и не скучно. Я так и знал. Эта подушечка, хо-хо. А с нами не хотите поделиться, скупец вы этакий... хе... хе... все для себя прячете». — «Да ничего подобного. Я на вас рассержусь, господин капитан. Это Смит вам что-то наплел». — «Ну, ну, без обид! Я только хотел отметить, что с вами можно поговорить, господин Зантман, не то что с какой-нибудь сухопутной крысой, и зря вы скрываете от нас — не понимаю, зачем это вам... Впрочем, вольному воля».

Я оказался в очень неприятном, сложном положении и старательно крутил пуговицу на пиджаке, у Кларка набухли жилы на висках, ярко выделяясь на фоне зальсин лба. Вдруг он помрачнел и почесал за ухом.

«Скука, — снова заладил он, пиная что-то ногой, — скука. Я подписал контракт с компанией и должен курсировать от Бирмингема до Вальпараисо, взад-вперед. Что же это такое, черт побери? На берегу скучно: трамваи, бары — береговая скука гонит в море. А в море что? Вот ты уже отчалил, вот уже отплываешь под полными парусами, уже исчезает берег, вот ты уже качаешься — уже пенится след за кормой, а скука опять тут как тут — а? Морская скука». — «Натура начеку, — пробормотал я, откашливаясь. — Такова уж натура». — «Как это?» — спросил Кларк.

«Натура не любит,— бормотал я,— не любит». — «Лучшее лекарство от скуки — трубка, верная моя подруга,— сказал капитан сентиментально.— Виски тоже неплохо... ногти грызть... нюхать табак... Если у кого дырка в зубе — языком вертеть. Если зачесется — можно чесаться, представляете, в Мукдене, вхожу в клуб, четыре капитана за ланчем, все исцарапаны до крови, расчесаны, будто у них крапивница. А вы как, господин Зантман?» — «Я? Я иногда...» — «Я вот замечаю, что-то вы уж очень свеженький и румяный,— с любопытством глядя на меня, сказал капитан.— Честное слово, будто никогда и не отрывались от маминой юбки. Как это вам удалось?» — «Но я, господин капитан... нет, в самом деле... Уверяю вас». — «Ха-ха-ха-ха-ха! — залился капитан раскатистым смехом.— Хо-хо-хо, ну вы и хитрец, господин Зантман. Ну-ну, я вас не заставляю, если уж не хотите, в конце концов пусть так, поверим, будто вы впервые,— ха-ха-ха... Подвернулся б нам хоть какой-нибудь штормик, а? — добавил он, снова поддев меня локтем.— Вот тогда, черт побери, мы бы прокатились как следует — да? А то тащимся еле-еле, дружище, да еще вдобавок ветер стихает. Прямо с души воротит — черт, дьявол, не могу больше...» — «Это вредно,— сказал я.— Очень вредно. Плохие мысли. Плохие мысли приходят». — «К чертям собачьим,— буркнул капитан.— Посмотрите-ка на эти мачты. Как они глупо стоят. Глупо. И я тоже стою — глупо. Я стою и рюмка. Скажите-ка мне, что можно сделать с рюмкой — разве что разбить ее, а? Так я уже сделал это вчера вечером. На этом заср... бриге ничего не происходит целыми днями. Когда я смотрю на эти поручни,— он хлопнул по ним рукой,— и вижу, как они все время глупо сверкают, я готов наизнанку вывернуться.— Он продолжал жаловаться, страдальчески морщась, тихим голосом, что все глупо, глупо.— Все должно быть вычищено, каждая вещь — на своем месте, матросы ни черта не делают — только драят и чистят целыми днями. На корабле, вы же знаете, обязательно чтоб была чрезмерная, прямо-таки преувеличенная чистота. На кой хрен? Или эти летающие рыбы... Нет, вы мне скажите, зачем они так глупо выскакивают из воды, о, вы только посмотрите,— он показал на рыбу, которая по крутой дуге пролетела над палу-

бой,— это тоже глупо, глупо до невозможности. Скажите мне, зачем они это делают, а? У них же нет крыльев».

Подумав, я отвечал, что данное явление следует приписать специфическим особенностям этих жаберных, которые умеют надуваться до такой степени, что в определенный момент вода, не в силах выдержать нервного напряжения, выбрасывает их — со страху, чтобы те не лопнули. Так же точно земляных жаб часто надувают сигаретой до невероятных размеров, но земля в этом отношении хуже, чем вода: она не уступает, и жабы лопаются.

«Клянусь честью! — закричал капитан в странном возбуждении.— Ха-ха-ха! Верно! Вот-вот! Ну, вы молодец! Конечно — вот мерзавки, а! Надутые, напугают, а эта бл...я громада воды со страху и выбрасывает — ха-ха! Дрейфит, черт побери, труса празднует! В морду! В морду — и за глотку! — кричал он с восторгом. По-видимому, мои слова затронули в нем какую-то террористическую струнку.— Браво, превосходно! Как же это мне в голову не пришло! Ну, вы знаток. Да вы просто натуралист,— добавил он, слегка напыжившись и глядя на меня с удивлением.— И вы говорите — никогда не путешествовали?» — «Я немного разбираюсь в природе,— сказал я,— но теоретически». Я закашлялся, сказал, что становится свежо, и вернулся в каюту, откуда не выходил весь следующий день.

Именно в этот (следующий) день произошел любопытный случай, которого я, однако, сам не видел (поскольку был в каюте). Известно, что акула-людоед потрясающе прожорлива, потому ее иногда и называют обжорой. Так вот, корабельный поваренок случайно уронил в море большую медную кастрюлю, и та — хоп — тут же исчезла в прожорливой пасти. Факт этот доставил поваренку такое удовольствие и такое чудеснейшее наслаждение, что он не мог удержаться и выбросил еще несколько вилок, которые были проглочены мгновенно, а потом начал бросать все, что попадалось под руку: тарелки, кухонные и столовые ножи, чашки, свои карманные часы, компас, барометр, трехмесячное жалованье, а также многотомный комплект морской энциклопедии. Смит застучал его, когда тот уже отрывал полку в совершенно опустошенной каюте. Можно

себе представить, что тут было. Мальчишка в тот же вечер заболел малярией и, я думаю, уже не покажется до конца путешествия. Так или иначе, мы лишились предметов первой необходимости и оmlет вынуждены теперь есть прямо со сковороды. Узнав об этом происшествии, я нахмурил брови и сказал сам себе, но достаточно громко и с умным видом, словно мне хотелось, чтобы кто-то услышал:

«Ага, ну что ж, это очень умно. Здорово придумано. Это известная в медицине болезнь, для нее характерно определенное ожесточение — то есть, выражаясь научно, специфическое *наваждение*, порожденное определенной несдержанностью, своеобразное наслаждение, возникающее из несовершенства чувств и заблуждений инстинкта, ослепленного излишней ненасытностью, некоторое, так сказать, колдовство автоматизма, одним словом, болезнь в какой-то степени автоматическая, возникающая под мощным воздействием всемирного тяготения, выбрасывания и страсти к игре в жмурки. Но, с другой стороны,— ведь предметы в животе должны доставлять большое беспокойство? — Через минуту, однако, мускулы у меня на лице расслабились, на нем появилось выражение чудовищной безнадежной глупости, и я сказал уже тише: — О Боже! Все это замечательно, но почему так глупо? Почему все так глупо, бесплодно, бесконечно, непрерывно, ни единой минуты отдыха, почему как-то так глупо-умно, умно-глупо? Кто-то тут умничает и кто-то дурачится, о Боже, пошли хоть пять минут передышки! — И даже позволил себе добавить: — Я словно в темном лесу, в котором причудливые очертания деревьев, оперение и гомон птиц манят и тешат дивным маскарадом, но из глубины доносятся далекое рычание льва, топот буйвола и вкрадчивые шаги ягуара».

2

«Бэнбери» движется все медленнее. Солнце печет все сильнее, растопленная смола капает с бортов корабля в море,

в сапфировое море, а вода при мытье палубы испаряется в такое же сапфировое небо. Капитан Кларк вышел на капитанский мостик, облизал палец и сказал:

«Так я и думал — бриз стихает. Еще и встречного ветра дождемся — очень может быть. Господин Смит, прикажите поднять боковой кливер. На этом участке всегда так — всегда, в Вальпараисо или из Вальпараисо, встречный ветер. И это называется навигация? *Это* — навигация? *Это* — называется — навигация!» — орал он, рассвирепев.

Стадо дельфинов неотступно следует за кормой. Им не нужно мяса, единственная их мечта — потереться о корабельный руль, они ужасно страдают от водяных вшей. Нечасто в беспредельности вод выпадает им такая удача: твердый предмет, о который можно потереться. Целыми неделями плывут они по океану в поисках такого предмета. Однако дельфины не знают, что корабль, хоть и очень медленно, все же двигается вперед, и постоянно промахиваются, проскальзывая в нескольких дюймах от рулевого ребра. Несчастные рыбы, не понимая причины, неумолимо повторяют маневр — безрезультатно.

На клочке бумаге я записал следующее:

«Я считаю, что всего этого как-то многовато. Дельфины, проскальзывающие мимо рулевого ребра, крысы, грызущие собственный хвост, матросы, рассматривающие свои ноги и выгибающие спины, пеликаны, клюющие в спину китов, капитан, колющийся булавками с поручиком, киты, бесплодно пытающиеся взлететь над водой, летающие рыбы, которые к тому же раздуваются настолько, что вода, не выдерживая напряжения, со страху выбрасывает их в воздух, — нет, это слишком уж однообразно. Я думаю, можно было бы время от времени показывать и что-нибудь другое. Если бы я знал, что будет так, никогда бы не отправился в путешествие. И не мешало бы чуть побольше такта. А беспрестанно повторять одно и то же, то есть ставить точки над «i» — совершенно излишне, еще догадается кто-нибудь.

В конце концов, зрелище как зрелище, но капитану и Смигу поразительно не хватает такта, эти ноги, эти невыносимые подвязки, а хуже всего — разговоры. Что должны означать — простите — эти откровения? «Мы, моряки» —

что значит «мы, моряки»? Кто кого тут хочет «раскачивать», что значит «ход» и «прожорливость», что значит «скука» и чем она «овладевает»? Я вовсе не любопытный. Тут явно был намек на меня — пили «за мое здоровье». Пьяницы. Все они пьяницы, люди с порочными наклонностями, держу пари, кокаилисты или морфинисты, вконец испорченные в каком-нибудь Пернамбуку. Не стану больше с ними разговаривать. Я не моряк и не хочу иметь дело с моряцкими боцманскими «причудами» капитана и с его моряцкой «храбростью». Я постараюсь осторожно (поскольку все ж таки носки до сих пор спущены) свести на нет наше общение. И Смит тоже, с его идеями и его буравчиком, — надо осадить его. То, что я ляпнул о подушечке и о летающей рыбе (конечно, сорвется иногда что-нибудь с языка, если к тебе пристают), еще не основание сразу же объявлять меня «старым моряком» и откровенничать со мной, не спрашивая, хочу я этого или не хочу.

Признаюсь, я представлял себе жизнь на корабле совершенно иначе. А это какое-то болото. И ни малейшего ветерка. Я надеялся вдохнуть соленый запах моря, который намного здоровее береговой духоты, увидеть необъятные просторы... а вместо этого вижу тесноту, назойливость да вдобавок какое-то обезьянье кривлянье. И прежде всего — ни на грош такта. Позавчера, не желая продолжать разговор с Кларком, я вернулся в каюту, но какой-то толстый червяк, кажется скорпион, выполз из щели в полу, смотрел на меня битый час, шевеля усиками, а потом ни с того ни с сего свернулся в клубок и впрыснул себе свой яд — покончил с собой. Я слышал, это у них в порядке вещей, у перепончатокрылых. Но зачем он выполз ко мне? Не мог управиться в щели? Я притворился, что не вижу его. На берегу тоже встречаются иногда собаки или лошади, но все же там побольше деликатности, и никто не будет специально выползать к кому-то, чтобы показать себя.

Хоть бы мы поскорее доплыли до Вальпараисо. Но доплывем ли мы до Вальпараисо? Не знаю, может быть, в конце концов это нормально и предусмотрено расписанием — я не разбираюсь в созвездиях и не умею поль-

зоваться ни секстантом, ни компасом, но если расположение звезд (как мне кажется) неблагоприятно и даже как-то по-обезьяньи каверзно, и мы вышли под недобрый знак — Овна или Козерога, то, по-моему, капитан и Смит слишком горячатся и позволяют себе лишнее. Я всегда боялся офицерских моряцких капризов — ни с чем не считаться, а сразу за глотку, и с шиком, с фасоном, лихая езда — лихая фантазия. Иногда следует притихнуть — переждать. Нужно понять, как и что. Тут тесно, совсем как в коробке, и может начаться какой-нибудь скандал, лица матросов мне не нравятся, хотя я вижу только их спины».

Написав это, я поскорее сжег записи над свечой. Потом взял чистый лист и дописал еще. «Да, мне не нравятся лица матросов, хоть я и вижу только их спины. Спины, конечно, покорные и запуганные, обычные спины, но вечерами в каюте я слышу из-под палубы однообразное, назойливое жужжание, и это не рой насекомых. Шум этот идет от матросов. И потом — Смит держит их за глотку днем, но не ночью. Они храпят? Разговаривают? А если разговаривают, то о чем они могут говорить и случайно не слишком ли увлекаются сплетнями, как это бывает обычно во время долгих морских путешествий? Может быть, они скуки ради рассказывают друг другу бесконечные несусветные истории, в которых нет ни слова правды. Смит ведь говорил мне — все они бродяги, всю жизнь околачивались в портах и наверняка немало слышались там за свою жизнь. Знал я одного такого: он рассказывал всегда с огромным наслаждением, что в Токио слышал у парикмахера, как один господин «весьма прилично одетый, наверно, из высших сфер», предупреждал маникюршу, «чтобы та не обстригала слишком коротко ногти, а то, мол, ему нечем будет ковырять в носу». Это показатель их отношения к интеллигенции. Они только такие вещи и умеют примечать — больше ничего. И готовы болтать об этом часами и обязательно вот с такими отвратительными издевательскими шуточками».

И этот лист я сжег — однако это не означает, что я не воплотил в жизнь свое решение относительно Кларка и Смита. Я держался от них на расстоянии и, завидев на одной

стороне корабля, переходил на другую. Хуже было, не отрицаю, когда один был на одной, а другой — на другой стороне брига. Тем временем задул бриз, но, вместо того чтобы задуть сбоку или с тылу, он начал слегка поддувать прямо в лоб. «Бэнбери» не пятился, но это ужасно раздражало: мелкие волны плескались под бушпритом. Вдобавок оказалось, что у Томпсона действительно рот как рыльце, и, видя это, я не смог удержаться (ругаю себя за такую неосторожность) и спросил:

«Томпсон, зачем вы это делаете? Нехорошо, Томпсон».

Это был рослый плечистый детина с выбритой физиономией, волосатой грудью, кольцами в ушах и короткой челкой на лбу — слишком короткой относительно всей фигуры. Он оглянулся, нет ли кого поблизости, придвинулся ко мне вплотную и сказал, вытягивая губы:

«Мне так нравится, сэр». — «Ну, ну, Томпсон, — сказал я поспешно. — Вот вам пять шиллингов на табак, Томпсон».

Томпсон сжал лапу, в которую я сунул деньги, и сказал:

«Это ни к чему». — «Вам, наверно, скучно на корабле, Томпсон», — сказал я сочувственно. «Ой скучно, ой скучно, — простонал Томпсон, — выдержать невозможно, сэр. Я должен ложиться спать в девять, как пай-мальчик, сэр, а днем петь песенки. Капитан и поручик слишком строги, сэр. Я не могу наслаждаться жизнью — не могу ублажать себя — просто подыхаю, сэр. Раньше я был кровь с молоком, красный, как огонь, здоровый как бык, а теперь — бледный и истощенный, черти меня грызут, сэр, пропадаю, сэр».

Я вынес ему немного молока в чашке, он тут же все вылакал.

«Это вам поможет, Томпсон. Молоко белое, это, чтобы стать краснощеким, лучшее средство — я буду каждый день выставлять для вас такую чашечку перед дверьми каюты. Молоко — и побольше овощей, только, ради Бога, не затевайте скандалов, Томпсон. Постарайтесь продержаться до Вальпараисо. Корабль замедляет ход, но капитан говорил мне, что вскоре задует попутный бриз. Только очень прошу вас, без всяких глупостей, Томпсон, вот вам еще пять шиллингов».

Мы все стоим под 76° широты, в добрых 450 милях

к юго-западу от Канарских островов. Однако что-то не видно здесь канареек. Эти златоперые маленькие птички, по-видимому, боятся слишком больших расстояний, они предпочитают порхать с ветки на ветку в пятнистой гуще раскидистых южных деревьев, где их щебет звучит гораздо громче, чем в море. Это не морские птицы, а береговые. Ветер дует слабо, но упорно нам навстречу, мелкие волны методично плещутся под бушпритом, по фиолетовому небу гуськом плывут белые безмятежные облака.

Очевидно, Томпсон проболтался, что я дал ему несколько шиллингов, — после полудня на средней палубе со мной заговорил боцман, огромный, астматический, толстый мужчина с отвислыми набрякшими щеками, с блеклыми глазами навывкате, со страдальческим взглядом. Он стал жаловаться на скуку, сказал, что у него грязные ноги, что это его очень мучает, и попросил несколько шиллингов. Когда я резко оборвал его, он сказал тише:

«Ладно, ладно. Такова уж жизнь. Я знаю. Мне сорок семь лет, и у меня никогда не было чистых ног, никогда мне это не удавалось. У других могут быть чистые ноги, а у меня — никогда, такая уж у меня собачья судьба. Всегда то одно, то другое, вечно — палки в колеса, а если можно, то — неохота. Да нет, я-то хочу, но мне неохота, — добавил он вяло, — я нашел другие способы, вот здесь», — он постучал пальцем по лбу и многозначительно посмотрел на меня. Я поскорее дал ему пять шиллингов на пиво и посоветовал, по крайней мере, пудрить ноги — это практичней, меньше отнимает времени. Я попросил, чтобы он никому не говорил, что я даю деньги. Но он, видно, не удержался. Один из матросов, не знаю, как его звали, проходя мимо и оглянувшись, не подслушивает ли кто, шепнул, будто бы себе:

«Настурции».

Пришлось и ему дать пару шиллингов. Гм... Я начинаю серьезно тревожиться, потому что команда наглет на глазах. Не прошло и двух дней после моего разговора с Томпсоном, а блокнот, в который я записывал ежедневные расходы, пополнился рядом новых позиций. Все происходило так, будто команда нашла какие-нибудь мои стихи под подушкой, но у меня никаких стихов не было, ведь я ворвался на «Бэнбери» из моторки, без всякого багажа.

Томпсону за «нравится» и за рыльце	10 шилл.
Боцману за ноги	5 шилл.
NN за настурции	2 шилл.
Стивенсу за помидоры и почки	5 шилл.
Бустеру за робость	5 шилл.
Дику за грядки, вскопанные лопаткой среди высоких тростниковых стеблей	4 шилл 6 пенс.
О'Брайену за огромных дойных коров, пасущихся на лугу, усыпанном круглыми камешками	3 шилл.

(Хотел дать меньше, но он знал еще и о «Ключике» О'Брайену повторно за шумовку, с предписанием, чтобы сдерживать себя до самого Вальпараисо. (NB. Он не хочет, уверяет, что вчера снова шла кровь. За это еще 6 пенс. дополнительно.)

Итого 34 шилл. 6 пенс.

Вышеприведенный счет я снабдил следующим комментарием: «Свои — вот и плачу. Не были б своими — не платил бы. Напрасно я связался с этим типом (Томпсоном), теперь все пристают ко мне один за другим. Нет ничего хуже, чем якшаться с голытьбой, которая бессмысленно врет, заискивает, лишь бы вытянуть деньги. Между собой они наверняка смеются, что им удалось надуть пассажира, и те же самые слова повторяют самым вульгарным образом, рыча от смеха и хватаясь за животы. Однако интересно, как они додумались до этого? Нужно признать, что на корабле наблюдается поразительное отсутствие деликатности, и в этом плане я мог бы предъявить претензии не только к матросам, но и к вентиляционным трубам, и в моей каюте тоже, которые проделывают со звуками какие-то странные выкрутасы. Они кривляются и коверкают слова, и любое из них сразу же превращается в грязь или глупость, так что приходится краснеть.

Ситуация заставляет проявлять огромный такт. У капитана слишком буйная моряцкая фантазия, а Смит умеет нежно пожать руку — даже приятно. В любую минуту могут вышвырнуть за борт. Отправляясь в путешествие, я забыл об абсолютной власти капитана, а это важный момент, о котором не следовало забывать. Я забыл также, что в море плавают только мужчины. (Я не говорю о больших пассажирских пароходах.) Сплошные мужчины, и носки тут

возникли не случайно. Что касается экипажа, он состоит из опытных пройдох, более опытных, чем я думал, и с ними нужно вести себя весьма дипломатично, ведь для них не существует ничего святого, они как немецкие бурши или как солдаты в казармах. Сразу видно. Хорошо, что Смит держит их за глотку.

Сегодня, стоя на носу, я увидел неизвестное животное, величиной и видом похожее на муравьеда, оно высунуло узкий, как лента, длинный язык и старалосьлизнуть кусок дерева, плывущий на расстоянии нескольких метров, я пошел на корму, но там кишели устрицы — этих моллюсков глотают живьем, и, извлеченные из раковин, они сдыхают в темной яме желудка. Никто, кроме них, не может быть съеден живьем, и ничего они так не боятся, как лимона. (Бояться лимона!) Тогда я отвернулся от моря и стал смотреть на палубу, но тут опять-таки один из матросов положил швабру, поднял ногу и почесал пятку, совсем как собачонка, которая облегчается под кустом. Кончилось тем, что я снова заперся в каюте на несколько часов под предлогом, что сыро. Нет, нет, необходимо проявлять огромный такт. Ничему нельзя удивляться, нельзя выражать удивление, удивление здесь совершенно не к месту, поскольку все тут в одном духе, все в одном духе, и у меня нет никаких оснований удивляться, и если меня вышвырнут за борт, то я вылечу без всякого удивления — удивляться в данных обстоятельствах, без сомнения, совершенно неуместно и чрезвычайно бестактно. Во всяком случае, следует быть осмотрительным и избегать конфликтов, передвигаться очень осторожно, скука давит, а солнце печет. Хоть бы, хоть бы доплыть до Вальпараисо — к сожалению, ветер дует навстречу.

Порядок, дисциплина и чистота на нашем корабле — это тонкая оболочка, которая в любую минуту может исчезнуть, и все идет к этому».

Кончив писать, я сжег и этот листок. Вскоре оказалось, что опасения мои были обоснованны и я зря раздавал деньги матросам, это подействовало на них как подстрекательство к разнузданности. Берут деньги, а потом продолжают уже с деньгами в кармане! (Когда-то, очень давно, я вот так же раздавал карамельки, и с тем же результатом!)

В один прекрасный день, прогуливаясь по корме, я заметил

на досках палубы человеческий глаз. Было совсем пусто, только у штурвала матрос жевал жвачку, вся палуба была залита субтропическим солнцем и наискось иссечена голубой сеткой тени от такелажа фок-мачты. Я спросил у рулевого:

«Чей это глаз?»

Он пожал плечами:

«Не знаю, сэр». — «Выпал у кого-то или вынули?» — «Я не видел, сэр. Лежит тут с утра. Я бы поднял и спрятал в коробочку, но не положено отходить от штурвала». — «Там у борта, — сказал я, — лежит второй глаз. Но другой. Другого человека. Подберите их, Бернес, когда вас сменят». — «Слушаюсь, сэр».

Я продолжал прерванную прогулку, раздумывая, сообщить ли капитану или Смиту, который как раз показался на трапе переднего люка.

«Там на палубе лежат два человеческих глаза».

Он живо заинтересовался.

«Ах, свол... Где? Пáрные?» — «Как вы думаете, господин поручик, они выпали у кого-то или их вынули?»

Послышался голос капитана с верхней площадки:

«Что-нибудь случилось, Смит? Почему вы ругались?» — «Эти... скот... прокл... — злобно ответил Смит. — Эти... варр... пр... начали развлекаться и строить глазки». — «Вы хотите сказать, — уточнил я, — что матросы от скуки придумали такую игру и один другому стараются половчее выбить глаз — вроде как мальчишки в школе подставляют друг другу ножку?»

Сверху раздался голос капитана:

«Не забудьте, господин Смит, чтобы помимо наказания виновник съел выбитый глаз. Так велит морская традиция». — «Сукины дети, — выругался Смит. — Стоит им начать — теперь покоя не будет. В южных водах Тихого во время штиля экипаж потерял из-за этого три четверти глаз. Боятся этого, как тысяча чертей, но стоит им начать, и уж не могут остановиться. Ну я им устрою — а, а, а, милостивые государи, вы меня будете помнить, будете меня помнить, милостивые гооо... ооо... гооос...» — «Это у них вроде щекотки, — сказал я. — Мальчишка в школе панически боится щекотки, но именно поэтому не может удержаться, чтобы не пощекотать товарища, а тот в свою очередь прини-

мается щекотать его, и начинается поголовное щекотание». — «Ну уж я их пощекочу», — забормотал Смит, закипая и свирепо ощупывая свои карманы. Я лишь добавил грустно, почти жалобно:

«Простите, но ведь это слабо закрепленный человеческий орган, шарик, вставленный в ямку, — только и всего».

Я пошел к себе, лег в постель и написал пальцем на стене каюты: «Ну и дела». Сейчас Смит их пощекочет, а потом они пощекочут Смита. Все намного хуже, чем я думал. Кажется, что все однообразно и глупо, но постепенно нарастает эксцентричность и косность — это уже личные придирки, — это опасно. Я словно ягненок среди волков или как осел в логове львов. Все же надо будет поговорить серьезно с Кларком.

Удобный случай для разговора представился в тот же вечер на капитанском мостике. Кларк стоял, опершись о поручни, и что-то обсуждал с поручиком — у обоих был озабоченный, раздраженный вид. По-видимому, они обсуждали сложившуюся ситуацию, я услышал, как Кларк сказал:

«Да, но если так пойдет дальше, может не хватить глаз. Что-то их, конечно, подстрекнуло, что-то придало храбрости этой банде — сами они никогда бы не начали. Теперь не будет покоя. Кто же их подначил?» — завопил он, впадая в ярость.

Море было прозрачным, заходящее солнце еще не успело скрыться за горизонтом, а тьма уже с невероятной поспешностью окутала воду. В небе появились аисты, они совершали свое ежегодное путешествие от северной Шотландии до восточных берегов Бразилии. Эти свободные птицы попадают в очень затруднительное положение, если к моменту перелета птенцы еще не умеют летать, могучий материнский инстинкт приковывает их к птенцам-подросткам, они тогда издают душераздирающие крики.

«Глаз — один из самых чувствительных органов человека, — заметил я через минуту. — Глаз очень легко вынуть. — И добавил, что в отношении глаз я особенно чувствителен. — Совершенно не выношу, если мне кто-то целится в глаз, пусть даже соломинкой. Мне кажется, команда слегка волнуется. Может, им там тесновато или неудобно, чего-то им не хватает, нельзя ли их чуть-чуть успокоить?» —

«Теперь еще этот! — грубо закричал Кларк, с раздражением человека, которого отрывают от важного дела.— К черту! Что, в штаны наложили? Вы иногда производите впечатлительные храброго моряка, но порой — прямо будто плаксивая баба».

Очень он рассердился.

«Команда взбесилась, а вы нам голову морочите. Вы что — баба?» — «Нет,— ответил я, уязвленный.— Но если сюда припутаются еще и бабы, будет совсем плохо. Я хотел только заметить, что знаю: на корабле готовится заговор».— «Заговор?» — воскликнул Кларк в изумлении. «Всеобщий заговор,— повторил я сухо.— Несомненно, готовится заговор, хотя внешне ничего не заметно, все происходит за спиной: сходятся, сговариваются. Я наперед знаю, чем все это кончится. Очень плохо кончится».— «Что? Что? — закричал Кларк, заинтригованный.— Заговор? На «Бэнбери»? Вам что-то известно? Что вы знаете, господин Зантман? Заговор?»

Я посмотрел ему в глаза и сказал:

«Вы знаете так же хорошо, как и я,— их беспокоит чистота и скромность, моя чистота и скромность».— «Как это?» — спросил он. «А вот так,— сказал я.— Все потому, что я чистый и скромный. Не будь я скромным, не родилось бы столько нескромности. Уж я вас знаю,— добавил я,— у всех у вас одно на уме. Захочется вам неизвестно чего, а я мешаю — я препятствую, разве не так? Скромность моя мешает. Поэтому все тут вокруг или подлизывается, или угрожает, подглядывает и передразнивает, поэтому — бесперывные приставания и все время одна и та же мысль, ах, одна и та же мысль!» — «Что? — сказал капитан, разинув рот.— Неприличные, говорите? Нескромные? Ну вы и... Идемте-ка выпьем, у меня коньячок — первый сорт!» Он был возбужден.

Меня очень разозлило поведение капитана, он даже покраснел, а его маленькие моряцкие глазки светились, как огарки, я понял, что в пылу сболтнул лишнее, и, пристыженный, быстро ушел.

Ветер дует резко, вытянутые рваные облака мчатся по небу — мачты и стальные тросы стонут, чайки борются с течением, которое сносит их к наветренной стороне, а по палубе разносятся тоскливые, жалобные выкрики и песни... Я ведь сказал, что знаю, чем все кончится, поэтому не удивляюсь, я вижу начало конца. Я даже, кажется, сказал, что, если сюда припутаются бабы, будет совсем плохо. И вот пожалуйста: матросы, надраивая бом-блоки, затягивают:

«Гей, гей, люби меня скорей!»

А с кормы отвечают им диким и страстным эхом те, что остались там при ведрах и швабрах:

«Зацелуй — зацелуй!»

Не следовало говорить о женщинах. Не следовало затрагивать эту тему. И у стен есть уши.

Нос корабля зарывается в огромные пенистые валы, проваливается и взлетает, но корабль не отступает ни на шаг, несмотря на то, что ветер дует прямо в лоб. Команда поет и поет. Смит, правда, пообещал матросам, что, если они не прекратят, он сделает так, что им придется проглотить свои слова, и они проглотят их! Но старые пройдохи, тертые калачи — они умеют выкручиваться из любого положения. Вместо того чтобы распевать явно любовные песни, вкладывают всю душу в обычные матросские выкрики — и получается то же самое. Срам один. Подавая канат, они призывают ветер: «Заплетай, заплетай!» Склоняясь над шваброй и ведром: «Мой, скреби — чисть, поливай!» — страстно, с глубокой истомой. Этого уж Смит не может им запретить, поскольку морской закон разрешает матросам матросские выкрики. Вблизи корабля бешено кружит гигантский самец кита, пуская фонтаны воды выше главной мачты, акулы скорчились от страха, а тюлень расположился со своим потомством на волнах — все семейство пялится на корабль.

Что за зрелище мы представляем, унижительное и смехотворное, хорошо хоть, никого из знакомых нет поблизости. Собственно говоря, виной всему легкомыслие Смита; все потому, что вчера поутру Смит от скуки приказал нацепить

на якорь кусок солонины, и на эту приманку попалась большая самка кита. Команда сбежалась вытаскивать огромную рыбину и полюбоваться ее предсмертным танцем на палубе. Прибежал и Смит — и с ходу разразился грязной бранью:

— Немедленно вышвырнуть эту стерву, эту падаль, эту гору жира, ни к черту не годную — смотреть тошно на эту раздутую колоду!

Но было слишком поздно. Матросы смотрели на самку почти что с нежностью, а Томпсон произнес, потягиваясь: «Гей, гей...»

Кит, как известно, млекопитающее, потому-то самка млекопитающего так их и возбудила — будь это любая другая рыба, холоднокровная, вовсе бы не подействовала. В частности, Томпсон — он ведь тоже млекопитающее — сильно реагировал.

Смит продолжал издеваться и сыпать проклятиями.

«О! Как воняет! Мерзость! Меня тошнит от этого смрада! Наверняка старуха, уж я-то знаю толк в этом деле — ручаюсь, не меньше семнадцати лет!»

Очень неосторожно! Семнадцать лет! Для самки кита это действительно старческий возраст, но — семнадцать лет! Напрасно вспомнил он о семнадцати годах. Матросы молча спихнули великаншу в море, но уже через полчаса начались ностальгические, страстные завывания, сладкой болью поражающие душу.

Около полудня на мостике показался капитан, посмотрел на пенистое море, кивнул и сказал:

«Корабль держится под ветром с ослиным упрямством. Очень хорошо. Господин Смит! Выдайте матросам по столовой ложке китового жира!»

Матросы как могли откручивались от ворвани — не хотели портить себе впечатление, но Смит каждого заставил проглотить полную ложку. После ворвани они немного успокоились. Но это ведь бывалые моряки, бродяжки со всех концов света, достаточно взглянуть на них, они наелись ржаного хлеба с солью, чтобы заглушить вкус ворвани, и снова начали да капо, только еще яростнее. Все дело в том, что они, с тех пор как ушли в море, не видели женщин. Мы, так они ставят вопрос, мы, как выплыли, не видели женщин,

и тоска охватила нас вдруг с неукротимой силой. Разумеется, они страдают от тоски, но это не мешает им возбуждать ее в себе всяческими способами, один подстрекает и вгоняет в тоску другого, а тот в свою очередь отвечает взаимно двойной дозой, и так далее. Страдания кита-самца, который не перестает кружить как сумасшедший и извергается, словно гейзер, являются для них лишь источником возбуждения и прямым поощрением.

«Ему можно тосковать, — думают они, — а нам нельзя?»

Вот прохвосты! Пройдохи, ловкачи, даже смотреть на них неприятно, и я стараюсь как можно больше сидеть в каюте. Правда, я и раньше знал, что это банда пройдох, но не думал, что до такой степени. Поскольку Смит не отходит от них, а из бокового кармана у него выглядывает буравчик, они не могут ни петь, ни называть вещи своими именами — пусть бы только позволил себе кто-нибудь, тут же Смит попросил бы его в люк на пару слов. Но надо видеть, как они умеют пропитывать своей тоской все, что только попадет им в руки. Они нежно держатся за щетки и преданно смотрят друг другу в глаза. Или, выбирая канат, умышленно гнутся, как ветви лещины, словно гибкие юноши. Я не в состоянии смотреть на это. Я бы с радостью напоил молоком всю команду, но знаю, что они не станут пить. Чашечка Томпсона стоит нетронутой, хотя я и подложил под нее не один, а два шиллинга. Я побежал на корму и написал на стенке фальшборта: «Ба, ба! Матерь Божья! Это невиданные мерзавцы! Но что будет со мной?»

Капитан сурово приказал:

— Господин Смит, на ночь плотно задраить все выходы. Дайте каждому еще по ложке ворвани и запретите шушукаться.

Кажется, капитан и Смит всерьез обеспокоены, я даже знаю, что капитан сильно накричал на Смита за его легкомыслие. Но, несмотря на запреты, несмотря на шум моря и скрип брига, обычное ночное жужжанье и гул доносились сквозь пол каюты гораздо громче и значительно явственнее, чем в предыдущие ночи. Я не мог удержаться. Не в силах больше сопротивляться опасному и позорному желанию знать, о чем они говорят и что там между ними происходит, и, говоря откровенно, убежденный на 80%, что они

говорят обо мне, я проковырял щель между досками и приложил к ней ухо. Сразу же хлынули звуки вместе с запахами табака и ворвани, но сначала я ничего не мог разобрать. Они ворочались, кричали, вздыхали, проклиная Смита и ворвань, которая мучила и донимала их, некоторые напевали вполголоса, другие вели путаные, мучительные разговоры. Лишь спустя минуту я расслышал:

«Девки из Сингапура».

И потом:

«Девки из Мадраса...» — «Девки из Миндоро...» — «Из Сан-Паулу...»

Снова вздохи, болезненные корчи в жирных объятиях ворвани. Потом выделился один голос:

«Лишь бы у них не было парши». — «Не может быть у них парши! Известно!»

Потом снова — непрерывно, однообразно:

«Ручка...» — «Ножка...»

(Какая игра воображения!)

Гомон усилился, а через минуту снова выделился один голос:

«Она любила меня. Не дал ей ни шиллинга. Любила задаром. Не взяла ни песеты».

Поднялся шум:

«Ну, ну! Зато, верно, дал сережки или коралловые бусы!» — «Полюбить могут каждого, — лениво буркнул басом боцман. — Но не каждому хочется. Чтобы любить, надо вымыть ноги. Сейчас я вынужден мыть ноги, но нет женщины, а когда есть женщина, то никто не требует мыть ноги, и вот так всю дорогу. Пассажир дал мне за это пять шиллингов». — «Не в том дело, — сказал другой. — Ясно, полюбить могут каждого. Но — некогда. Некогда, говорю, братцы. Коли время есть, то и монета есть, а если монета есть, то идешь в бордель, где и без любви устроишься. А коли монеты нет, так садись на корабль и зарабатывай. Вот ведь какое свинство».

(Сколько же в этом правды!)

И снова — еще горячей:

«Зубки...» — «Глазки...»

(Сколько страсти! Сколько юмора!)

«Нет, не то, братцы, — мрачно сказал Томпсон, ворочаясь

на койке,— не то, братцы,— это все проклятая Reisefieber *. Чтоб мне провалиться, сколько раз нападала на меня в Сан-Франциско или в Адене в воскресенье: иду по улице, белье, братцы, на веревке сушится, а они так и зыркают...» — «Как же на тебя не зыркать»,— ласково сказал юнга. (Что? Какое бесстыдство! Хотя этот юнга не понравился мне с первого взгляда: выманил у меня 20 шиллингов за «кокетство», как я отметил в блокноте.) «Проклятая наша судьба, говорю,— забубнил боцман,— проклятая. Драить и драить! Мне уж пятьдесят — проклятая, говорю, судьба!» — «Братцы,— опять завел Томпсон мрачно,— я вам говорю — это все Reisefieber. Проклятый зуд — корчит, разбирает, знаете, по костям бродит, спать не дает, братцы! Сколько раз был я на женщине! И каждый раз думал: вот, помчит меня, как корабль — прокачусь, думал, но какое там — все на месте и на месте. А так меня что-то разбирает, так распирает, говорю вам! Холера! И летишь в порт, чтоб поспеть на первый же корабль,— и в море, все равно, лишь бы раскататься как следует, лишь бы покачаться! Вот где главная причина. Женщины, понимаете, заражают вас Reisefieber». — «Далеко заехал,— засмеялся кто-то.— За двое суток сделали тридцать узлов». — «С места не двигаемся,— выругался кто-то в углу.— Ветер отвернулся». — «А хоть бы и сдвинулись, так что? — забрюзжал другой.— В Вальпараисо та же старая б... что и в Бомбее, только под другим фонарем». — «Уж я не знаю,— пробубнил боцман гнусаво, неуверенно побряхтывая,— целый день только ноги — а женщины не дают? Это что — нарочно? Это всегда так?»

И он начал ругаться — грязно, неторопливо, продуманно, старательно подыскивая слова.

«Человек пропадает,— нежно сказал юнга,— правда, Томми? О чем ты думаешь, Томми?» — «А пассажир кормит нас молочком, как щенят! — грубо выругался Томпсон.— Если бы сменить курс этак на полрумба, повернуть боком к ветру — эх, и прокатились бы мы, братцы! Сразу бы с места сдвинулись. Там, на юге, я слышал, никем не изве-

* дорожная лихорадка (нем.).

данные моря, и еще там, слышал я, морские коровы водятся, огромные, как горы, поросшие лесом, а в тех лесах — хо-хо...»

(О, о! О чем они мечтают! Какие-то прогулки! Этого нельзя допустить!)

«Там чудеса», — сказал юнга. «И теплее, — буркнул боцман. — Солнце сильнее греет». — «Под знойным небом Аргентины, где девушки как на картине. Споем, братцы! Песня — лучшее лекарство от тоски, а тоски у каждого хватает!»

Потекла песня, тихая, приглушенная, словно стон. Под знойным небом Аргентины... Я заткнул щель, лег и попытался заснуть, но через минуту вскочил и выбежал на палубу, потому что какота провоняла ворванью и стало душно.

Конечно же, матросы всей душой погрузились в бесконечные легенды, в матросские мечты о неизведанных морях, о чудесах, тропических девах и приключениях Синдбада-Морехода. Конечно же, они принялись повторять эти тысячи раз слышанные истории в библейском стиле царя Соломона о горах, лесах и скалах — груди словно стадо ягнят, волосы словно гремющий горный ручей, глаза словно пара оленят. Воображение, как злая собака, спущенная с цепи, оскалило зубы и глухо рычало, прячась по темным углам. Палуба превратилась в пустыню. Море сильно разволновалось, ветер дул с удвоенной силой, в темных волнах маячила туша разъяренного кита, неутомимого в своем беге по кругу. Гм... справа — Африка, слева — Америка; посреди — кувыркаются в пучине какие-то рыбешки из семейства мелких пескарей. Эти маленькие рыбки так панически боятся одиночества, что появляются в море не иначе как косяками, по 10 тысяч штук и больше, а если поймать одну из них и подержать над водой, то остальные жалобно высовывают мордочки из волн и сдыхают, совсем как овцы!

«Хорошо, — прошептал я, — что нет женщин, если бы хоть одна оказалась на корабле... брр... кто бы меня тогда спас. Но к счастью, мы далеко, и женщины нет и не может быть — ну, никак не может быть, ибо ее нет, и они бессильны. Слава Тебе, Господи!»

В этот момент я услышал сзади, откуда-то слева, отчет-

ливый звук сочного поцелуя. Я оглянулся, думая, что это хлопнул парус, ведь никого не было, но через минуту снова донесся до меня тот же самый звук с еще большей отчетливостью. Поцелуй? Поцелуй на корабле? Каким чудом, если здесь нет женщин? Я кашлянул и неторопливо перешел на подветренную сторону, то есть на нос. Здесь я опять услышал тот самый, совершенно неуместный звук, отчетливо, словно над самым моим левым ухом. Я решил тотчас же вернуться в каюту. Поскольку нет женщин, не может быть и поцелуев — значит, я не должен слышать то, чего нет. Если же действительно готовится какой-то разговор, следует отстраниться. Не хочу ни во что ввязываться. Пусть уж они сами...

Однако перед самой дверью в каюту я задержался, услышав за фок-мачтой, буквально в трех шагах от себя нежный тенорок юнги.

«Томми, Томми, дай мне шарфик, и пойдем с тобой в цирк». — «Томпсон! — закричал я. — Томпсон! Что вы делаете? Побойтесь Бога, Томпсон, имейте совесть!» — «А чего?» — огрызнулся Томпсон, не отпуская юнгу, который нежно льнул к нему. «Томпсон, но это ведь не женщина! Вот вам фунт стерлингов, Томпсон, фунт стерлингов!» — «Но я напоминаю женщину, — запищал юнга. — У меня тонкий голос, как у женщины», — а Томпсон вдруг нагло сунул мне фигу прямо под нос, и они перестали обращать на меня внимание. Я сделал вид, что забыл носовой платок, и быстро ушел. Но возле переднего люка я заметил в ночном сумраке двух других матросов, которые шли под ручку. Я отвернулся и увидел возле камбуза еще двух шепчущихся матросов. «Как неприятно, — прошептал я, — что отныне я не смогу смотреть без стыда на двух матросов, даже на одного матроса. Я вынужден буду отворачиваться. В любом случае не мешает разбудить капитана. Они о чем-то шепчутся и сговариваются!»

Но Кларк не спал. С удивлением я заметил слабый огонек его трубки на капитанском мостике. Видимо, он решил присмотреть за бригам ночью. Он стоял и очень внимательно смотрел на кончик согнутого пальца. «Замечательный капитан, — подумал я с благоговением, — благородный капитан, внешне слегка эксцентричный, но ответственный и опытный,

отважный капитан. Он не допустит! Он не позволит!» Я подошел и в двух словах небрежно сообщил, что на корабле я слышал поцелуи, матросы бродят по палубе или ворочаются на жестких подстилках. Кроме того, они ходят парами, о чем-то говорят друг с другом, наклоняются друг к другу и обнимаются.

«Что? Бунт? На корабле? — закричал капитан, пробуждаясь от задумчивости.— Господин Смит, прикажите подать мне мою зюйдвестку! Бунтовщики должны быть наказаны по всем законам моря и мореходства. Зачинщики будут зашиты в мешки, я прочитаю над ними надлежащий абзац из Евангелия, после чего с камнем на шее они будут брошены в море. Вся трудность в том, как их заманить в мешки. Нужно будет на дно мешков положить приманку».

(Какая глупость! В такую минуту! Почему глупость не отступает от меня ни на шаг? Страшная усталость разлилась по моим мышцам, словно масло.)

«Если корабль следует в Вальпараисо, то я, как капитан, обязан проследить, чтобы корабль прибыл в Вальпараисо. Я обязан блюсти чистоту и порядок. Разве не так? Господин Зантман, разве я не верно рассуждаю?»

Он посмотрел на меня с такой невероятной спесью, весь надулся, глаза вылезли из орбит: он покраснел, побагровел так ужасно, что я отступил и невольно заткнул уши в страхе, что лопнут барабанные перепонки, и вдруг он подскочил, пролетел по воздуху несколько шагов и снова опустился. Что это было? Совсем как летающая рыба. И зачем я ему говорил тогда о ней. По-видимому, ничего нельзя говорить, коль скоро пределы воздействия слова невозможно предвидеть, а границы фантазии стираются...

«Бойтся,— с торжеством прохрипел он, опускаясь.— Бойтся, б... натура! В рыло! В рыло! Даешь! Вперед! Урра! — казалось, он свихнулся.— Посмотрите-ка сюда, господин Зантман,— он показал мне большой и указательный пальцы правой руки,— что вы видите? Маленький паучок. Вообразите только,— продолжал он, крича мне в ухо и снова машинально надуваясь, а ветер крепчал, тяжелые тучи громоздились на севере, и трубка у него погасла.— Я нашел его минуту назад, на мостике. Я видел огромную паучиху, к которой подкрадывался этот маленький паучок. Черт побери!

В двух шагах от меня. Вы бы видели, как она, коварная, раскоряченная, неподвижная, ждала его и гипнотизировала. Словно Мене, Текел, Фарес — и как он умолял, чтобы она не сжирала его. Прямо кланчил, уверяю вас. Что вы на это скажете? Клянусь Богом — вы были правы, тут вокруг все употребляют друг друга как хотят, и только я, дурак... Я, дурак! Что вы на это скажете, что вы скажете об этом пауке?» — «Хуже всего, — прошептал я, глядя в сторону и весь дрожа, — что точно так же змеи поступают с маленькими птичками. Мой ум слаб. Мой ум слаб. Из-за этого стираются грани между вещами, а также между добром и злом».

Капитан вытаращил глаза.

«Что? Господин Зантман! Точно! Маленькие птички — змеи, как это не пришло мне в голову. Даже мурашки по спине побежали. Вот мерзавцы, а? Все соединяются, спариваются друг с другом, пауки, птички со змеями, матросы, все наслаждаются — а я... Даже тут, на корабле, под носом — а я... Ба, а в море ведь рыба, а ведь рыба, черт побери, рыба — она же двуполоя! — рычал он. — Я об этом никогда не думал! Чтоб меня гром разразил, тысяча чертей! Вы задумывались над тем, что рыба — двуполоя, что у нее есть все, что требуется, только наслаждайся! А я тут должен стоять один — я один должен тут торчать, как пень!» — «Это супруги, — сказал я осторожно, у меня волосы на голове встали дыбом, я боялся кого-нибудь обидеть. — Это, наверно, супруги — в каждой рыбе находятся мужчина и женщина и крохотный священник. Но зачем выкликать волка из лесу? И зачем так громко? Но, господин капитан, — добавил я, перегибаясь через поручни, — там на палубе уже не несколько, там много матросов — мне даже кажется, там уже все матросы, они шепчутся, обнимаются и идут сюда — простите, я, пожалуй, вернусь в каюту». — «А! — сказал капитан, потирая руки. — А! Идут сюда? Очень хорошо. Господин Смит, ко мне, живо! Вызовите второго офицера. Быстро. Идут сюда? Ну так потанцуем», — и, прежде чем я успел крикнуть, он жестом, в высшей степени оскорбляющим общественные приличия, выхватил из кармана миниатюрный, отливающий синевой браунинг.

Я поспешно направился в каюту, где лег в постель и поста-

рался поскорее уснуть. Но сны были беспокойными, мне снилось, что все сбились на палубе в тесную кучу — какая-то мешанина из тел, вульгарные объятия, всеобщая свалка, приглушенный шепот, стоны, грязные ругательства и проклятия. Началась какая-то толкотня вокруг капитанского мостика, после чего все перекатились на корму, но я не был уверен, что это бунт, — я не слышал выстрелов. Мне также казалось, будто сквозь сон донеслось до меня несколько раз мое имя в сопровождении дикого хохота, выкриков, насмешек и злорадного ликования — Зантман, Зантман, словно это я угощал. Словно все это было на мои деньги.

Корабль сотрясался и поднимался постепенно вверх, и я слышал, как кто-то плотоядно объяснял, что корабль на всем ходу наткнулся на встречный ветер, отчего и ход, и ветер сшиблись, взгромозились друг на друга, и корабль поднимается вверх на большую высоту. Я хотел закричать, но не мог подать голос, потому что спал, а тем временем кто-то тронул пальцем рулевое колесо, «Бэнбери» круто повернулся боком к ветру и рванулся с места так внезапно и резко, что я упал с койки на пол.

4

Около полуночи начался настоящий шторм. Бриг раскачивался, словно качели, треща, мчался вперед, и скорость его вскоре возросла до того, что я не мог оторваться от задней стенки каюты. «Бэнбери» держался стойко, приняв шторм под острым бейдевиндом на правом галсе. Через двадцать шесть часов качка прекратилась, но я предпочитал не выходить на палубу. Я не сомневался, что произошел бунт, а если не бунт, то, во всяком случае, что-то в этом роде, так что я предпочитал благоразумно держаться в стороне, пока не буду знать наверняка, что там меня ждет снаружи. Я запер двери на ключ и заставил их шкафом; у меня было припрятано одиннадцать бутылок пива и коробка бисквитов.

Под утро я осторожно выглянул в окно, но тотчас же отпрянул и опустил шторы и даже дополнительно завесил

окно плащом. То, что я увидел, еще больше укрепило меня в решении не покидать каюту, пока они сами не придут и не взломают двери. Положение у меня было весьма незавидное, ведь могло не хватить бисквитов. Более того, хоть я на плащ навесил еще и одеяло, все же сквозь щели просачивался свет, а стены каюты потрескались и искривились вследствие бури, и на них образовались многочисленные трещины и щели, очень извилистые. Эти трещины имели слишком мудреный вид, вроде мозговых извилин, они были излишне запутанными и остроконечными. Такие мозговые остроконечные трещины. Это также склоняло меня к осторожности.

Однако не знаю — или они забыли обо мне, или считали, что меня смыло волной во время шторма, или просто были заняты чем-то другим, но только в течение трех дней никто не подавал признаков жизни. Становилось душно, жарко. Я снова выглянул в окно, но быстро отскочил в противоположный угол каюты; в глаза мне ударила слишком яркая зелень, а слишком яркая зелень, как оказалось, может быть еще неприятнее, чем даже темная, мрачная ночь. Кроме того, на борту сидела маленькая, чересчур яркая колибри, а горизонт переливался великолепием всех цветов радуги, чего я не люблю; напротив, яркий свет, богатство декораций, великолепие красок вызывают у меня неприязнь, я предпочитаю серые осенние сумерки либо туманное утро, не люблю ни в чем аффектации, предпочитаю тихий укромный уголок, поскольку я всегда знаю, чем все кончится.

И вот уже четвертый день я не выползаю из угла, несмотря на то, что сухари на исходе. Корабль, как мне кажется, плывет все быстрее, но без малейшей качки, ровно, как лодка в пруду, а свет, сочащийся сквозь щели, становится ярче и ярче. Уже появились, должно быть, большие печальные кондоры, и диковинные, крикливые попугаи, и золотые рыбки, как в аквариуме, и, может быть, вдали — баобабы, пальмы и водопады... Да, да... Никакого сомнения, бунтовщики, используя силу ветра, направили «Бэнбери» в неведомые тропические моря, но я предпочитал бы не догадываться, через какую зелень и к каким фантастическим архипелагам устремится корабль, подхваченный подводным течением. И я хотел бы не слышать диких разнузданных криков, которыми команда приветствует колибри, попугаев и другие

приметы в небе и на земле, незамедлительно сулящие (говоря без утайки) роскошные утехи.

Нет, я не хочу знать. Не хочу знать и вообще не желаю ни зноя, ни комфорта, ни роскоши. И не хочу выходить на палубу в страхе, как бы не увидеть чего-то, что до сих пор оставалось туманным, полускрытым и недосказанным, воцарившимся во всем бесстыдстве посреди павлиньих перьев и в знойном сиянии. Потому что с самого начала все вокруг было мое, а я, я был таким же, как всё вокруг, внешний мир — это зеркало, в которое смотрится мир внутренний!

Непорочность

Нет ничего более искусственного, чем описание юных девиц и изысканные сравнения, которые при этом применяются. Губы, как вишни, грудь — розочки, — тогда бы достаточно было купить в магазине немного фруктов и цветов! И если бы губы действительно имели вкус спелой вишни, кто бы осмелился влюбиться? Кого бы соблазнила карамелька — буквально сладкий поцелуй?

Но — тсс, довольно, тайна, табу, не будем слишком много говорить о губах.

Локоток Алисии, если смотреть на него сквозь призму чувства, кажется либо белым, гладким, девственным шпилем, плавно переходящим в нежнейшие линии плеча, либо — при свободно опущенной руке — круглой, сладкой ямочкой, тихим закоулком, укромной часовенкой ее тела. В остальном Алисия была похожа на любую другую дочку отставного майора, возвращенную любящей матерью в загородном cottage. Как и все другие, она иногда задумчиво поглаживала свой локоток, как все другие, с годами научилась водить ножкой по песку...

Но оставим это...

Жизнь подрастающей девушки нельзя сравнивать ни с жизнью инженера или адвоката, ни с жизнью хозяйки, жены и матери. Взять хотя бы ее мечтательность и ропот крови, неумолчный, как тиканье часов. Где-то уже сказано, что нет ничего более удивительного, чем соблазнительность. Нелегко уберечь юную особу, смысл существования которой — соблазнять, однако Алисию надежно оберегали канарейка Фифи, мать майора и пинчер Биби, которого Алисия водила на поводке во время слепополуденной прогулки. Пернатая и четвероногая челядь, охраняя Алисию, состояла в забавном сговоре. «Биби, — пела канарейка, — Биби, собачка, хоро-

шенько стереги нашу барышню. Служи на задних лапках! Отгоняй от нее дурные мысли! Следи за зонтиком, он ведь такой лентяй, пусть надежно укрывает от солнца нашу любимую барышню!»

Однажды погожим августовским вечером, на закате, Алисия прогуливалась по аллее садика и забавлялась тем, что протыкала в гравии концом зонтика маленькие круглые дырочки. Садик, небольшой, но милый, окружала стена, укрытая вьющимися розочками. Какой-то бродяга, растянувшийся под солнцем на стене, отломил кусок кирпича и швырнул в Алисию. Камень попал ей в лопатку, Алисия пошатнулась, чуть не упала и уже хотела закричать, но заметила, что обидчик не проявляет ни злобы, ни удовольствия, а вместо этого швыряет ей в спину еще один кусок кирпича. Лицо грубияна выражало ленивую истому послеполуденной сиесты, равнодушие, цинизм и больше ничего, поэтому Алисия лишь слабо улыбнулась ему губами, дрожащими от боли, после чего бродяжка слез со стены и исчез, она же вернулась домой, повторяя:

«Я улыбнулась...» — «Алисия, Алисия! — позвала госпожа С., ее мать. — Алисия, чай пить!» — «Иду, мама», — ответила Алисия. «Почему ты так громко хлюпаешь, дитя мое? Где это видано — так пить чай?» — «Потому что он очень горячий, мама», — объяснила Алисия. «Но, Алисия, зачем же ты ешь хлеб, который упал на пол?» — «Это я из бережливости, мама». — «Посмотри, как Биби служит и напоминает о своем кусочке хлеба с маслом. Постыдись же, дитя мое, не будь эгоисткой — о, о, зачем ты наступила собачке на лапу? Какая муха тебя сегодня укусила? Что с тобой случилось?» — «Ах, я такая рассеянная», — сказала Алисия мечтательно. — «Мама, почему мужчины носят брюки, ведь и у нас есть ноги? А почему, мама, у мужчин короткие волосы? Мужчины стригутся, потому что... потому что... вынуждены или потому что так хотят?» — «Длинные волосы им не к лицу, Алисия». — «Мама, а зачем мужчинам, чтобы им было к лицу?»

Разговаривая, Алисия украдкой спрятала в рукав серебряную ложечку, которой помешивала чай.

«Зачем? — сказала госпожа С. — А зачем ты завиваешь себе локоны? Чтобы мир был прекрасней и чтобы солныш-

ко не скупилось посылать людям свои лучи».

Но Алисия уже встала и вышла в сад. Она достала из рукава ложечку и с минуту смотрела на нее в нерешительности.

«Я украла ее,— шепнула она удивленно.— Украла! Но что теперь с ней делать?»

В конце концов она закопала ее под деревом. Ах, если бы Алисию не ударили камнем, она бы никогда не украла ложечку. Женщины, может быть, и не любят крайностей в реальной жизни, но психологически они любую ситуацию, если захотят, способны исчерпать до самого дна.

В это время в дверях дома показался майор С., крупный, полный мужчина.

«Алисия! — позвал он.— Завтра приезжает твой жених, он вернулся из Китая!»

Обручение Алисии состоялось четыре года назад, когда она встречала свою семнадцатую весну.

«Согласны ли вы,— неуверенно спросил у нее юноша,— согласны ли вы, чтобы эта ручка стала моей?» — «Как это?» — спросила она. «Я прошу вашей руки, Алисия», — пробормотал юный влюбленный. «Но ведь вы не хотите, чтобы я отрезала себе руку», — возразила наивная девушка, тем не менее заливаясь румянцем. «Значит, вы не хотите быть моей невестой?» — «Конечно, хочу», — ответила она, — но вы должны дать мне слово, что никогда не будете претендовать ни на один из моих членов, это бессмысленно!» — «Чудесно! — вскричал он.— Вы сами не понимаете, как вы очаровательны! Упоительно!»

И весь вечер он бродил по улицам и повторял:

«Она поняла буквально, она думала, что я... хочу взять себе ее руку, как берут кусок торта. Хочется упасть перед ней на колени!»

Несомненно, он был весьма интересный юноша, на белоснежном лице контрастно выделялись ярко-красные губы, и дух его ни в чем не уступал физической красоте. Насколько же богат и разнообразен дух человеческий! Одни строят свою нравственность на честности, другие — на сердечной доброте, а у Павла альфой и омегой, фундаментом и вершиной служила непорочность. Она-то и составляла основу его души, и уже на этой основе рождались все его высшие

инстинкты. Шатобриан тоже считал непорочность чем-то идеальным и вздыхал о ней, говоря: «Итак, мы видим, что непорочность, возносясь от самого низкого звена в цепи созданий, простирается ввысь к человеку, от человека к ангелам и от ангелов к Богу, в котором теряется. Сам Бог — великий отшельник во вселенной, извечный юноша миров».

Если Павел полюбил Алисию, то потому, что ее локоток, ручки, ножки были более непорочны, чем это бывает обычно, вероятно, от природы или благодаря заботливой опеке родителей; а еще потому, что она сама показалась ему воплощением непорочности.

«Непорочная дева, — думал он. — Она ничего не понимает. Аист. Нет, это слишком прекрасно, чтобы думать об этом, разве что на коленях. — И, проходя мимо городской бойни, он добавил: — Может, она думает, что и маленьких готовых телят приносит аист?.. Телячью печень — прямо на стол к маме?.. Ах, это так возвышенно! Как же ее не любить?»

Как не славить Творца? Непостижимо! Насколько же волшебна природа, если вообще позволено существовать в этой юдоли слез такому чуду, как непорочность. Непорочность — то есть особая категория замкнутых, изолированных, наивных созданий, отгороженных от мира тоненькой стенкой. Они преисполнены робких надежд, дыхание их безмятежно, и, соприкасаясь с миром, они ни во что не вникают — пребывают отдельно от всего, что их окружает, запертые на ключ перед непристойностью, наглухо запечатанные, — и это не фраза, не риторика, а настоящая печать, такая же надежная, как и любая другая. Ошеломляющее соединение физики и метафизики, абстрактного и конкретного — из мелкой, сугубо чувственной подробности изливается целое море идеализма и чудес, разительно противоречащих нашей печальной действительности.

«Когда она ест телячью печень, то не знает ни о чем, ни о чем не догадывается, остается невинной, и так во всем, с утра до вечера. Как-то она сказала вместо паука — паучок: паучок ест мушку? О, прелесть! Она невинна и в гостиной, и в столовой, и в девичьей комнатке за белой занавеской, и в кло... Стоп! Ужасная мысль! — Он сжал руками щеки, все

лицо его нервно подергивалось.— Нет, нет,— шептал он.— Она этого вообще не делает, она этого не знает, а иначе — нет Бога на небесах.— Но он чувствовал, что лжет.— Во всяком случае, это происходит помимо нее, она в этот момент духовно отсутствует, как-то так, машинально...

Да, но все же, но все же — какая ужасная мысль!

Ах! А я? Я, который об этом думает, который способен думать о чем-то подобном, который не гложет и не слепнет при виде этого ужаса, а мысленно подглядывает. Какая подлость! Тут нет ее вины — только моя, потому что я грязный, испорченный, и воображение у меня грязное и испорченное. Разве я не обязан в ответ на ее непорочность проявить хоть чуточку наивности? Да — чтобы быть достойным полюбить непорочную деву, нужно самому быть девственным и непорочным, иначе нечего и мечтать об идиллии.

Итак, я стремлюсь быть непорочным, но как этого достичь? Я не девица. Правда, как священник или монах, я мог бы облачиться в черное, в сутану, соблюдать пост и половое воздержание, но что с того? Разве монах или священник обязательно непорочен? Да нет же, нет, вовсе не в том секрет мужской непорочности. Прежде всего — крепко зажмурить глаза, а во-вторых — положиться на инстинкт. Я чувствую, что инстинкт укажет мне путь. Да, так же как я инстинктивно чувствую (хотя не сумел бы объяснить — почему), что в ее ушах больше непорочности, чем в ее носике, в плавной линии плеч — еще больше, чем в ушах, а в большом пальце непорочности меньше, чем в указательном, так же как я могу оценить с этой точки зрения любую подробность ее фигуры, так же точно мой инстинкт будет моей путеводной звездой, поможет обрести мужскую непорочность и стать достойным Алисии».

Нужно ли распространяться о том, куда привел его инстинкт? Ведь каждый переживал нечто подобное между тринадцатым и четырнадцатым годом жизни. Родители предназначали его для торговой деятельности, но он колебался лишь между двумя призваниями — солдата или моряка. Правда, в профессии солдата привлекает слепое повиновение и жесткая постель, но с другой стороны — ограниченность пространства. Превосходство же моряков над другими в том, что они избавлены от общения с противоположным

полом, обладают свободой, покоряют пространство и стихию, а также в том, что морская вода — соленая. Корабль, слегка покачиваясь, уносит моряков в дальние страны, к фантастическим пальмам и цветным людям, в мир столь же нереальный, как и тот, который грезится в белоснежных постельках Алисии и ее ровесницам. Не без глубокого смысла эти далекие края называют девственными — мужчины там носят косы, их уши, отягченные металлическими кольцами, оттягиваются до самых лопаток, а идолы под баобабамы пожирают рабов или младенцев, в то время как толпы туземцев дергаются в ритуальных танцах. Разве поцелуй, который встречается у диких: нежное взаимное прикосновение носами, — разве не кажется, будто он перенесен живьем из мечтательной невинной головки? Долгие годы провел там Павел. Его поразило, что туземная девица, не прикрываясь ни юбкой, ни блузкой, вся целиком остается на виду. «Какая мерзость... — думал он. — Разрушаются чары... Правда, цвет сам по себе предрешает дело... Будучи красной, черной либо желтой — трудно и бесполезно — в юбке или без — претендовать на титул девы».

«Ты, Мони-Буату, — сказал он как-то одной негритянке, — ты голая... не краснеть... черная, с оскаленным ртом, гротескная... тебе не дано постичь божественную стыдливость невинности, укрытой тканью, невинности, которая пугливо отводит взгляд».

Юбочка, блузочка, зонтик, щебет, святая наивность, продиктованная инстинктом, — все это замечательно, но не для меня. Я мужчина и не умею пожимать плечиками и невинно конфузиться. Честь, отвага, достоинство, немногословность — вот атрибуты мужской непорочности. Но я должен проявлять по отношению к миру определенную мужскую наивность, аналогичную наивности девичьей. На все смотреть ясными глазами. Должен есть салат. В салате больше непорочности, чем в редиске, — а почему, кто знает? Может быть, потому, что он кислее. Но зато в лимоне еще меньше непорочности, чем даже в редиске.

Есть и у мужской половины чудесные тайны, дела, укрытые за семью печатями: знамя, смерть под знаменем. Что дальше? Вера — великая мистерия, слепая вера. Безбожник похож на публичную женщину, доступную любому. Я должен

присвоить чему-нибудь звание моего идеала, полюбить, слепо поверить и быть готовым принести в жертву жизнь, но чему? Чему угодно. Лишь бы у меня был идеал. Я дева-мужчина, закупоренная собственным идеалом!

И вот после четырех лет отсутствия он прогуливался с невестой по дорожкам садика. Это была красивая пара. Госпожа С. с умилением наблюдала за ними из окна, вышивая скатерть, а Биби, высунув красный язычок, гонялся по газонам за птичками, которые со щебетом порхали над ним.

«Ты изменилась,— грустно сказал молодой человек.— Не щебечешь, как раньше, и не размахиваешь ручкой...» — «Нет, нет, я люблю тебя по-прежнему,— ответила Алисия рассеянно. «Вот видишь! Раньше ты не сказала бы, что любишь меня. Я не ожидал от тебя этого, Алисия, что такое слово родится из твоих уст, что твой язык и губы произнесут это стыдливое слово. Вообще, ты какая-то беспокойная, возбужденная — у тебя, случайно, не ангина?» — «Я люблю тебя, только...» — «Что — только?» — «А не будешь смеяться надо мной?» — «Ты же знаешь, я никогда не смеюсь. Я только улыбаюсь, и всегда — светлой улыбкой». — «Объясни мне, что такое любовь и что такое я?» — «О, я давно ждал этой минуты! — воскликнул он.— Что такое любовь? Сядем на эту скамейку. Когда прародители вкусили по наущению сатаны от древа познания, все, как ты знаешь, изменилось к худшему. О Боже! — молились люди. Верни нам хоть частицу утраченной чистоты и невинности! Господь Бог беспомощно смотрел на их толпы и не ведал, как и где поместить Чистоту и Невинность среди этого гнусного стада. Тогда-то он и сотворил деву, сосуд невинности, плотно его закупорил и пустил меж людей, которые воспылали к ней ностальгической печальной любовью». — «А замужние?» — «Замужняя женщина — это пустое, ерунда, откупоренная, выдохшаяся бутылка». — «А почему, скажи мне, почему мужчины бросают в девушек камни?» — «Что? Алисия!» — «Со мной уже не раз случалось,— сказала Алисия, заливаясь румянцем,— что мужчина, встретившийся мне на пустой улице, когда никто не видел... бросал в меня камень». — «Что ты говоришь? — удивился Павел.— Никогда об этом не слышал,— прощентал он.— Как это? Бросал камень?» — «Да — брал камень, большущий кирпич, и бросал в меня. Было

больно», — еле слышно прошептала Алисия. «Это... это пустяки... Наверно, это дурные люди... ради забавы или для тренировки меткости... Не думай об этом». — «А почему девушка при этом обязательно улыбается?» — не унималась Алисия. — «Улыбается? Как это? Что ты говоришь, девочка моя? И часто это с тобой случалось, Алисия?» — «О, очень часто, почти каждый день, если я была одна или с Биби». — «А твои подружки?» — «И они на это жалуются. Невозможно не улыбаться, — продолжала Алисия задумчиво, — хоть и больно».

«Оригинально, — думал Павел, возвращаясь домой. — Возмутительно, даже грубо. Камнем в девушку — никогда не слышал ни о чем подобном. Правда, такие вещи обычно держат в тайне. Она сама говорит, что это происходит, лишь когда никто не видит. Грубо, да, но вместе с тем и очаровательно, а почему? Потому что — инстинктивно. Я взволнован, как-то странно возбужден. О, девичий мир, мир любви полон волшебных странностей. Незнакомые улыбаются друг другу на улице, кто-то гладит чей-то локоть, улыбка сквозь слезы или поцелуй носами — все это не менее странно, чем швыряние камней. Возможно, существует целый кодекс условных знаков и приемов, о которых я, пробив долго в Китае и Африке, среди дикарей, ничего не знаю.

Непорочность отличается тем, что любая вещь в ее глазах приобретает не то значение, которое имеет в действительности. Бросить камень — невинный мужчина считает не более оскорбительным, чем нежно прикоснуться рукой к щеке. Обычный человек, нормальная женщина убежала бы с визгом, она же улыбнулась — улыбка родилась из каких-то неизведанных глубин. Обычный человек думал бы только о том, как попроворнее убежать с поля боя, дабы унести, насколько это возможно, в целостности-сохранности свою шкуру, тогда как для меня, напротив, главным является честь и знамя, то есть, попросту говоря, цветная тряпка на ветру.

В монархии больше непорочности, чем в республике, потому что в ней больше тайны, чем в болтливых членах парламента. Монарх — величественный, безгрешный, безупречный, неподсудный — и есть дева, а в меньших масштабах — и генерал тоже дева.

О священная тайна бытия, о чудо существования, прини-

мая дары твои, я не стану жадничать и стараться ухватить побольше. Напротив, лишь смиренно склоненная голова, робкое дыхание, почтение и благодарность, но только не роковой своими последствиями анализ. Непорочность и тайна едины, так остережемся же приоткрывать священную завету».

Алисия в свою очередь также предавалась размышлениям.

«Удивительный мир! Никто в нем не отвечает на вопросы прямо, обязательно — символически. Ничего невозможно дознаться. Павел, конечно, рассказал легенду. Повсюду меня окружают символы и легенды, словно все сговорились против меня. Рай, Бог... кто знает, не придумано ли и это специально для меня, для нас — юных барышень. Я уверена, все что-то скрывают и притворяются, все между собой в сговоре. И мама с Павлом в сговоре. Так приятно хлюпать, когда пьешь чай, или наступать на хвост собачке... Да... Религия, долг и добродетель, а мне кажется, что за этим, как за ширмой, скрываются какие-то строго определенные жесты, движения, что любой возвышенный лозунг сводится к строго определенному жесту и строго определенному моменту.

Ах, представляю себе! Обычно все одеты и ведут себя вежливо, но когда остаются один на один, мужчины бросают камни в женщин, а те улыбаются, несмотря на то, что им больно. И потом воруют... разве я сама не украла серебряную ложечку и не закопала ее в саду, не зная, что с нею делать? Мама не раз читала вслух о воровстве в газетах, я теперь понимаю, что это значит. Воруют, хлюпают, когда пьют чай, оттаптывают лапы собакам и вообще поступают против правил, это и есть любовь, а девушек сохраняют в невинности, чтобы... было приятней. Я вся дрожу».

Алисия — Павлу:

«Павел! Все не так, как ты говоришь. Меня прямо распирает отчего-то. Вчера я слышала, мама говорила отцу, что безработные ужасно «размножаются», что они ходят «полураздетые», питаются какими-то мерзкими обедками и что количество краж, драк, грабежей растет как на дрожжах. Скажи мне все — скажи, что это значит, зачем им эти «обедки», почему — «полураздетые». Павел, прошу тебя, непременно, я хочу знать, наконец, как мне быть, твоя навсегда — Алисия».

Павел — Алисии:

«Дорогая моя! Что за мысли роятся в головушке твоей! Заклинаю тебя нашей любовью, не думай об этом никогда. Да, существуют всякие такие вещи, встречаются иногда, но, размышляя над ними, миг можно утратить невинность — и что тогда будет? Перед лицом грязной действительности высшая под небом правда заключается в чистоте! Останемся же в неведении, будем жить непорочностью, нашим юношески-девическим инстинктом и остережемся даже мысленно устремлять свои взгляды туда, куда не следует, как это случилось со мной однажды, когда я с тобой познакомился. Осознание уродует, неведение украшает, твой навеки — Павел».

«Инстинкт,— думала Алисия,— инстинкт... да... но чего хочет этот инстинкт, чего, собственно, хочу я! Сама не знаю... умереть или съесть что-нибудь острое. Нет, я не успокоюсь, пока... Я ничего не знаю, у меня на глазах повязка, как говорит Павел, даже страшно становится... Инстинкт, мой девичий инстинкт — он укажет мне путь!»

На следующий день она обратилась к жениху, который с упоением рассматривал ее локоть:

«Павел... у меня возникают такие дикие фантазии!» — «И прекрасно, дорогая, именно этого я и ждал от тебя,— ответил Павел.— Кем бы ты была без капризов и фантазий. Я преклоняюсь перед твоей наивной безрассудностью!» — «Но у меня очень странные фантазии, Павел... стыдно даже признаться». — «У тебя и не может быть других, ты слишком невинна,— ответил Павел.— Чем твоя фантазия более дикая и странная, тем с большим жаром я ее осуществлю, ангел мой. Подчинившись ей, я окажу честь твоей и своей непорочности». — «Но видишь ли... тут что-то другое... Меня прямо распирает. Скажи мне... ты... ты тоже... как другие... ты когда-нибудь воровал?» — «За кого ты меня принимаешь, Алисия? Что означают твои слова? Разве ты могла бы хоть на минуту полюбить мужчину, замаранного подобным поступком? Я всегда старался быть достойным тебя и чистым, разумеется, в пределах своих мужских возможностей». — «Не знаю, не знаю, Павел... Скажи мне — только откровенно, очень тебя прошу, скажи мне, ты когда-нибудь, ну, понимаешь, обманывал кого-нибудь, или кусал, или ходил... полураздетым,

или спал на стене, или бил кого-нибудь, или лизал, ел какую-нибудь гадость?» — «Девочка моя! Что ты говоришь! Откуда у тебя это? Алисия, подумай... Я мог лизать или обманывать? А моя честь? Ты, наверно, с ума сошла!» — «Ах, Павел,— сказала Алисия,— какой чудесный день — ни единого облачка, а от солнца приходится ладошкой глаза прикрывать».

Поглощенные беседой, они обошли вокруг дома и очутились возле кухни, где на куче мусора валялась брошенная Биби кость с остатками розового мяса.

«Смотри, Павел, кость»,— сказала Алисия. «Пойдем отсюда,— сказал Павел.— Пойдем отсюда, здесь скверно пахнет и кухонные девки верещат. Нет, Алисия, я удивлен, как это в твоей прелестной головке могли возникнуть такие мысли». — «Подожди, подожди, Павел, постоим еще, видно, Биби не обгрыз ее до конца... Павел... ах, что это со мной, сама не понимаю... Павел...» — «Что с тобой, дорогая, тебе нехорошо? Может, голову напекло — так жарко». — «Нет, вовсе нет... Смотри, как она поглядывает на нас, словно хочет нас укусить — съесть нас. Ты меня очень любишь?»

Они стояли над костью, которую Биби, воскрешая воспоминания, понюхал и лизнул.

«Люблю ли я тебя? Так люблю, что, наверно, только на небесах можно встретить любовь, равную моей». — «А я так хотела бы, Павел, чтобы ты обгрыз, то есть чтобы мы вместе обгрызли эту кость с помойки. Не смотри на меня, я покраснела,— она прижалась к нему,— не смотри на меня сейчас». — «Кость? Что, что? Алисия! Что ты сказала?» — «Павел,— сказала Алисия, прижимаясь к нему,— этот... камень, понимаешь... пробудил во мне какое-то особое беспокойство. Я ни о чем не хочу знать, ничего мне не говори, но меня мучают сад, и розы, и стена, и белизна моего платья, и, ах, кто знает, может, я хочу, чтобы у меня вся спина была в синяках... Камень прошептал мне, шепнул моей спине, что там, за стеной, есть нечто,— и я это нечто съем, обгрызу с этой кости, то есть мы обгрызем вместе, Павел, ты со мной, я с тобой, я должна, должна — повторяла она возбужденно,— без этого я просто умру, умру молодой!»

Павел задумался.

«Девочка моя, зачем тебе кость? Ты с ума сошла! Если

уж тебе так хочется, прикажи подать свежую кость из бульона». — «Ах, но я-то как раз хочу именно эту, с помойки! — закричала Алисия, топнув ножкой. — И непременно украдкой, чтоб бояться кухарки!»

И внезапно между ними вспыхнул спор, такой же жаркий и изнуряющий, как зной июльского солнца, которое склонялось к горизонту.

«Но, Алисия, это же отвратительно, мерзко, тут воняет — фи, меня просто тошнит, ведь сюда кухарка выливает помой!» — «Помои? И меня тоже тошнит, я теряю сознание, ах, я так хочу, хочу помоев. Поверь мне, Павел, все грызут, все едят! Я уверена, так делают все, я это чувствую, когда никто не видит».

Они препирались очень долго.

«Это мерзко!» — «Это безрассудно, чудесно, таинственно, стыдно и приятно!» — «Алисия! — закричал наконец Павел. — Ради Бога... я начинаю сомневаться. Что это? Сон или явь? Не хочу допытываться, Боже сохрани, я не любопытный, но... А может, ты шутишь, может, ты насмехаешься надо мной, Алисия? Что с тобой случилось? Камень, говоришь? Возможно ли это: кто-то швыряет камни, а у тебя от этого появляется вдруг какой-то странный аппетит, какая-то нездоровая тяга к костям? Но это же слишком дико, слишком грязно как-то, нет, я с уважением отношусь к твоим фантазиям, но это уже не девичий инстинкт, это все высосано из пальца!» — «Из пальца? — переспросила Алисия. — Павел, а разве мои пальцы не девичьи? Ты ведь сам говорил, что нужно закрыть глаза, бездумно и тихо, наивно и чисто, и — ах, Павел, скорее, посмотри, как светит солнце, а меня так и распирает! Говорю тебе, все так делают, только мы... только мы не знаем! Ах, тебе кажется, что никто никогда никому... а я тебе говорю, что камни по вечерам так и свистят, словно проливной дождь, не успеваешь даже зажмуриться, и голодные и полураздетые обгрызают в тени деревьев кости и всякие отбросы! Это и есть — любовь, любовь!» — «Ха! Ты с ума сошла!»

«Перестань! — крикнула она, дергая его за рукав. — Пойдем, пойдем, возьмем кость!» — «Ни за что! Ни за что!»

И в отчаянии он готов был ее ударить! Но в эту минуту они услышали за стеной что-то вроде удара и стон. Подбе-

жав, они высунули головы из вьющихся розочек: там, на улице, под деревом, молодая босая девушка, скорчившись от боли, впилась губами в собственное колено, подняв его к лицу.

«Что это?» — прошептал он.

И тут новый камень просвистел в воздухе и угодил ей в шею — девушка упала, но тотчас вскочила и отбежала за дерево, а откуда-то из глубины донесся мужской крик:

«Я тебе покажу! Я тебя еще выдеру! Будешь знать! Воровка!»

Воздух ласкал и горячил, в природе разлилась тишина: наступила одна из тех дрожащих, благоуханных минут самозабвения...

«Видишь?» — шепнула Алисия. «Что это?» — «Бросают в девушку... бросают камнями... только для удовольствия, для наслаждения...» — «Нет, нет... Невозможно...» — «Ты же сам видел... Пойдем, кость нас ждет, идем к нашей кости. Обгрызем ее вместе — хочешь? — вместе! Я с тобой, ты со мной! Смотри, она уже у меня во рту! А теперь ты! Теперь ты!»

На черной лестнице

В сумерки, в час, когда зажигаются первые фонари, я любил ходить по городу и заигрывать с кухарками. Незаметно это вошло у меня в привычку, а, как известно, *consuetudo altera natura* *. Другие члены Z-клуба, а также все атташе посольств (разумеется, те, что не были женаты) также ходили по улицам и флиртовали с кем-то соответственно вкусу, фантазии, темпераменту, но меня привлекали исключительно толстые грубые кухарки. Должен даже признаться: когда я был определен в Париж в качестве второго секретаря (это было весьма почетно для человека моих лет), ужасная ностальгия заставила меня вернуться на родину. Слишком мучительно чужеродными казались мне стройные, нервные, обтянутые чулочком икры тамошних служанок. Убийственная бойкость, отвратительная раскованность, несносная парижская легкость казались мне слишком уж мелкими, и слишком уж изящно цокали они каблучками, и на площади Звезды или даже в левобережных кварталах невозможно было отыскать обычную фефелу с кошелкой в руке, выходящую из парфюмерной лавчонки или из продовольственного магазинчика. Вайсенгоф пишет: «волнующий ритм ножек парижанки». Именно этот ритм убивал меня, меня тянуло к иному ритму, к иной мелодии...

Происходило это так: заметив издали кухарку попроще, неторопливо переставляющую толстые ноги, я прибавлял шагу и шел за ней, пока она не входила в ворота. Догнав ее на черной лестнице, я для начала спрашивал: «Здесь живет госпожа Ковальская?» А потом: «Может, познакомимся?» При этом никогда не происходило ничего конкретного — например, никаких поцелуев, хотя в течение пяти лет я по-

* привычка — вторая натура (лат.).

беседовал таким образом не меньше чем с сотней, тысячей служанок, нет, они были слишком пугливы, потому, верно, что хозяева были слишком строги, и я никогда не получал от этого никакой конкретной пользы — разве что, может быть, легче становилось жить...

Но как-то раз я допустил неосторожность: меня заприметил один из моих приятелей и, как и следовало ожидать, рассказал знакомым:

— Знаете, я вчера видел Филиппа на Хожей, клянусь, он там обхаживал какую-то мерзкую замарашку!

Пошло дальше, уж не знаю, десятый или двадцатый сплетник начал язвить, поздравлять меня с превосходным вкусом, будто бы я люблю, мол, свежую репу, и другие тоже высказывались на тему: «я что-то знаю, но не скажу». Можете представить, как я испугался. Правда, в Z-клубе, разумеется, всякое могло быть, как обычно, один любит то, другой — это, но все же элегантный чулочек — это одно, а другое дело — постыдный объект, босая, вульгарная кухарка. Если бы, по крайней мере, это были цветущие ядреные девахи — я бы тогда мог сказать что-нибудь о свежей репе, что, мол, городским вредным деликатесам я предпочитаю свежую репу. Но толстые рыхлые кухарки не имеют ничего общего с репой — скорее, со смальцем, с фритюром, с кокосовым маслом. Не раз с досадой усматривал я в их горьком уродстве свое личное невезение, какой-то злой рок, почему — размышлял я — в любом сословии, в любых кругах можно найти девицу, девушку или, наконец, девку, словом — поэзию, и только одни кухарки почему-то поголовно отлучены от красоты и обаяния? Только потом я открыл закон искусственного отбора: это хозяйки отбирают самых уродливых, всякую деревенщину, недотеп, багровощеких, пропитанных жиром, со страховидным задом и расквашенными физиономиями, будто по ним смазала чья-то неведомая рука, — служанка в доме должна быть такой, чтобы никто из домашних никогда не испытывал к ней божеских чувств.

Собственно говоря, и я не испытывал к ним никакой страсти, по крайней мере, чего-нибудь в таком роде, никакой страсти, а только великую робость, наисладчайшую, рождающуюся откуда-то из самых глубин сознания. Она сохранилась во мне с детских лет, когда я, затаив дыхание, с бью-

щимся сердцем наблюдал за нашей кухаркой. Когда она подавала обед, скребла пол, приносила завтрак... либо на Пасху, во время мытья окон... наблюдал жадно, робко, из-под опущенных век. Нынче я, конечно, уже не настолько безумен, чтобы утверждать, будто такая отгалкивающая, вульгарная служанка отвечает эстетическим или каким-нибудь там другим требованиям, но тогда, помню, если ее мучил флюс, я робко им любовался, и во время мытья окон ее флюс казался мне прекраснейшей любой пеларгонии, что цвела в горшках на окне, и вообще, я помню, это было чудо, перед которым невольно опускались глаза. Позднее, разумеется, наступило время уроков, педагогических и непедагогических, началось «обтесывание», время лакированных туфель, галстуков, чистки зубов, подпиливания ногтей, пришли успехи, ордена и фэйфы *, пришел Париж, Лондон, но приглушенная изысканностью робость уже навеки возлюбила кухонную фефелу, выходящую из продуктовой лавки, и только в ней находила утешение. И не вопреки, а именно благодаря тому, что я принадлежал к самым уважаемым членам Z-клуба, я обожал влюбляться в толстых кухарок и воскрешать под котелком и английским пальто бывшее головокружение, бывшее биение сердца, и казалось, что в этом — мои корни.

Но это была робость. Если бы это была смелость! Если бы это была смелость — так называемые девочки, шлюшки, кабинет в ресторане, номер в гостинице, что-то веселенькое, какие-нибудь финтифлюшки, я бы никак не реагировал на сплетни, говорил бы только, что я — распутник. Но то была робость — и как тут быть, как защититься, как оправдаться?

— Представьте себе, Филипп придумал за кухаркой.

Я испугался, да так основательно, что вскоре женился на особе, являющейся абсолютным антиподом кухарке. Я испугался насмешек. Да здравствует тирания! Я отрекся от кухарок, вычеркнул их из памяти, уволил всех с первого числа и захлопнул перед ними дверь моего нутра. По-прежнему ли мелькают на Кручей и Хожей толстые икры, посаженные на бесформенные стопы? Может быть — но для меня это terra incognita. Моя жена несла в себе утешение и успокоение. Ее ноги — гибкие, как лиана, длинные, стройные —

* Имеется в виду фэйф-о-клок.

наилучшим образом свидетельствовали о моем вкусе, так же как и фигура — тоже стройная, эlegantная, повсюду наш марьяж производил великолепное впечатление. К тому же мы наняли молоденькую бойкую горничную, барышню-служанку, абсолютно не похожую на толстых кухарок, — в опрятном кружевном чепчике, она ловко вертелась вокруг стола.

Жена поставила дом на соответствующую ногу, и нога эта была изящной, породистой, с высоким подъемом, за тысячу миль от тех опухших, бесформенных и, как правило, дряблых ног. Собственно говоря, почти ничего не изменилось, только исчезли два вскозь упомянутых сумеречных часа, и теперь уж круглыми сутками вокруг меня ничего не менялось — жена моя даже в минуты страстного исступления не способна забыть, что я член Z-клуба. Я же ходил по дому и повторял: «Ah, quelle beauté, quelle grâce! *» И повторял с тем большим самозабвением, что где-то внутри тайно мучило меня подозрение, что и жена, и приятели, даже горничная в кокетливом чепчике догадываются о чем-то, а я нахожусь на лечении и на обследовании. Ибо иначе как же объяснить... такую удивительную жестокость... то, что мы слишком часто, может быть, слишком старательно чистили зубы, слишком придирчиво надраивали эти зубы, носили слишком остроносые, как мне казалось, туфли, слишком сверкающие лаком. Жена, например, принимала ванну каждый день, и я думаю, не без определенного тиранического умысла. Слишком много я видел в этом жестокости и слишком мало сердца, слишком много какой-то холодной гидротерапии. Это выглядело так, словно все вокруг хотели задавить даже тень печали, даже намека на желание, само воспоминание о воспоминании...

Я же послушно приспособливался к жене, восхищался ею, как некогда в Париже восхищался Триумфальной Аркой; но мне не хватало в арке характерной раскоряченности, определенного уродства, и поэтому я вернулся на родину. Почему же у меня не доставало сил поступить так же со своей женой, которая тоже была напрочь лишена даже намека на уродство, почему, вместо того чтобы слоняться по бесспорно прекрасным, но чужим краям и морям, не поселился я проч-

* Ах, какая красота, какая грация! (франц.).

но на родине — разве не первоочередной долг каждого жить в своем отечестве?

Вместо этого я, словно предатель, ренегат, с притворным восхищением смотрел на враждебную, холодную страну своей жены, на ее унылые белые пейзажи, на отдельные подробности, которые казались мне тусклыми и мертвыми, как лунный свет. «Очаровательный холмик, — думал я, рассматривая спящую, — округлый, миниатюрный, снежно-белый. Стройная фигура, гибкий стан — волнистый, модный, такой эстетичный! Роскошная нога — как она гармонична, как изящно вьется белой змеей на белоснежной постели». Я подло лгал. Нет, это луна, а мать-земля где-то утеряна. Но жена и во сне ухитрялась даже мысли не допускать о бунте, сопротивлении — и было нечто деспотическое в том, как ее нога сужалась книзу, словно только так, и только так, было возможно.

О, эти маленькие ножки, чистые, с высоким подъемом, с аркой настолько же парижской, насколько триумфальной, я уже говорил о том, что дом был поставлен на соответствующую ногу, жена умела манипулировать этой ногой абсолютно безапелляционно, высовывала ее из-под одеяла как раз и навсегда предрешенный трюизм. Я целовал ее холодными губами и восторгался: она такая крохотная, каждый розовый пальчик, как игрушка, о, все в ней безупречно, совершенно, продуманно. На всем пространстве ее кожи нигде, нигде ни единого изъяна, белизна и гладкость безупречны. Только холодные, величественные луны, только эстетичные перспективы, только подстриженные шпалеры, китайские, японские фонарики! Это была феерия. А называлось это по-чужому, на чужих языках, начиная от *manicure* и перманент вплоть до *savoir vivre* * и *bon ton* **. И я тоже был европейским, я был вымытым, я был вычищенным. И внутри тоже все было вычищено и препарировано — сплошные сверкающие лаком туфельки, тросточка, модный пеньюар.

И как все было легко и доступно — с помощью всего лишь нескольких условных знаков я заполучил сердце своей жены, и в министерстве тоже устраивал свои делишки при помо-

* умения жить (франц.).

** хорошего тона (франц.).

щи условных знаков. Маникюрши, секретарши, хористки, составляющие питательную среду для членов Z-клуба, также требовали только условных знаков, минимального количества приемов. Кино, ужин, дансинг и диван — словно автоматы, они выделяли ласки после нажатия на соответствующие кнопки. Правда, повсюду сверкали английские замки, но они легко уступали при условии, что известен их шифр-абракадабра и подобран соответствующий ключ. Так что и самая бронированная женщина (уверен, не исключая и моей жены) открывалась, словно устрица, стоило лишь произвести парочку ритуальных жестов. Все было гладко, легко, плавно, совсем как образцовая нога моей жены, и все точно так же сужалось книзу в малюсенькую ножку, и все сводилось к нескольким словам: «Ты пригласил Пиотровских на файф?»

О, с кухарками все обстояло иначе, чуть посложнее, вспомним вкратце, как это все происходило. С ними приходилось постоянно преодолевать упорное сопротивление да еще какую-то страшную боязнь щекотки, все было против: глаза, нос, прикосновение — нет, они не хотели, только я хотел. Иду, высматриваю издали, вижу — идет, пошевеливая задом, неторопливо переступая короткими ногами с толстыми икрами, голыми летом, зимой — одетыми в грубые белые бумажные чулки. Я ускоряю шаг, но тут уже дают о себе знать пальто и котелок, уже начинаются трудности и мучения. Я ведь хочу увидеть лицо, рассмотреть, какое оно, но нельзя же оглядываться на нее, это объект постыдный. Что скажут дамы, что подумают шляпы о моем котелке? Итак, ускорив шаг, я обгоняю служанку, потом возвращаюсь под каким-нибудь предлогом (и уже труднее идти, уже чувствую под английским пальто скованность движений), бросаю на нее мимолетный взгляд и наконец вижу — какая она? Краснощекая, мордастая или бледная, одутловатая, запуганная и робкая, крикуха или хохотушка? И когда после многочисленных лавочек, после бесконечной болтовни с товарками она сворачивает в подворотню, я догоняю ее на черной лестнице и, тяжело дыша, спрашиваю:

— Здесь живет госпожа Ковальская?

Служанка пока ни о чем не догадывается, она деловито ступает своими ножищами по ступенькам и говорит, что не

знает. Я же прислушиваюсь к шорохам — не идет ли кто-нибудь сверху или снизу, не покажется ли какая-нибудь барышня — и тихо, робко (а сердце колотится) предлагаю:

— Может, познакомимся?

Служанка останавливается, смотрит — и вот вроде бы начинает чуть-чуть улыбаться, что-то там под платком начинает копошиться, и высовывается со стыдливой улыбкой счастье: чумазая ручка, ручка-мастодонт, едва-едва, лишь настолько, насколько позволяет приличие. Я беру, глажу, шепчу:

— Барышня Марыся очень мне понравилась. Я за барышней Марысей от самой Маршалковской иду.

Служанка, польщенная, улыбается:

— Ээ... да что ж вам так понравилось?

Я — с потупленным взором и бьющимся сердцем:

— Все, Марыся, все! — Я стараюсь говорить как можно спокойней, естественней, чтобы ничем не разбудить невзначай дремлющую пока щекотку.

Служанка смеется.

— Ну и свинство! — смеется она. — Ну и свинство! — и тут же начинает ковырять пальцем в гнилом зубе.

Она забыла обо мне — она целиком поглощена исключительно своими зубами, я же стою и жду — и жду.

Затем она вынимает палец изо рта, осматривая его, и тут вдруг будто ее подменили:

— Не имею привычки знакомиться с кем попало на лестнице!

В ней просыпается какая-то примитивная гордость.

— Глянь-ка, а, понравилась я ему — думает, на ту напал!

Я опускаю голову, сутулю плечи, чувствую, что это робость, дикость, что пробуждается щекотка, — значит, опять, как уж тысячу раз прежде, ничем не кончится! (А другие служанки уже слышали, уже выглядывают в приоткрытые двери, одна за другой высовываются на черную лестницу — отовсюду раздается хихиканье, становитсялюдно.) И моя служанка начинает корчиться в припадке веселья — что ее так развеселило или просто захотелось порезвиться?

Плюхнулась задом на лестницу, вытянула впереди ножищи и визжит:

— Хи-хи-хи, пришей кобыле хвост!

— Тихо, тихо, — шепчу я в страхе перед барыньками.

Ведь в любую минуту кто-нибудь из них может выйти на лестницу. А служанки, которые притаились выше на лестнице, вторят пискливо:

— Хи-хи-хи, пришей кобыле хвост!

Кобыле? Хвост? Интересно, откуда только бралась эта боязнь щекотки? Должно быть, я сам чем-то провоцировал ее, что-то такое во мне действовало на их орган смеха, как красная тряпка. Должно быть, я щекотал, возбуждал их чувство юмора примерно так же, как они — мое обоняние. Может, мое элегантно пальто их веселило? Или чистота, зеркально отполированные ногти — как мою жену сместила грязь? Прежде всего, конечно, мой страх перед хозяйками — они угадывали мой страх, и он их смешил, но коль скоро смех начался, я уже знал: все потеряно! А если еще, желая успокоиться, унять щекотку, я пытался взять ее за руку — сохрани Боже! Она будто ждала этого! Отскочит, закутается в платок и испускает вопли на всю лестницу:

— Они еще и цепляются!

Втянув голову в плечи, я стремглав сбегаю вниз, а позади — разбушевавшийся ад.

— Видали такого поганца!

— Спусти его, Манька, с лестницы!

— Ах ты мерзотник!

— Смажь ему по рылу!

— Барчук цепляется!

«Барчук цепляется!» «В рыло ему!» Да, да — да, да — тут все было чуть-чуть иначе, чем с маникюршами или с хористками, здесь все было крупно, дико, стыдливо и страшно, этакие кухонные джунгли! Тут все было такое! И разумеется, ни разу не дошло до чего-нибудь безнравственного. Эх, запретные, отзвучавшие воспоминания, что за неразумное творение человек, отчего же чувства постоянно берут в нем верх над рассудком! Сегодня, спокойно вспоминая о невозвратном прошлом, я понимаю, как понимал и тогда, что ничего никогда не могло произойти между мною и кухарками, слишком безнадежно разделяла нас зияющая естественная пропасть; но и теперь, как и тогда, не желаю я ни на йоту поверить в эту пропасть, и гнев мой обращается против хозяек! Как знать? Если бы не они, если бы не их шляпы, перчатки, их кислые, строгие, недовольные мины, если бы не

этот парализующий страх и стыд, что в любую минуту любая из них может появиться на лестнице, и если бы они умышленно не внушали служанкам этот страх, распространяя разные басни о ворах, о насилиях и убийствах... Да, пугливость, эту страшную, ужасную щекотку, порождали именно хозяйки с помощью своих шляпок. О, как я ненавидел тогда этих сварливых дамочек, этих мещаночек, этих барыnek, обладательниц единственной служанки, на них возлагал я всю вину — может, и не без основания, поскольку — как знать — если бы не они, может быть, натура прислуги проявила бы ко мне больше снисходительности.

Я начинал стареть. Появились на висках седые волосы, я занимал высокое положение заместителя министра, а усердием в мытье превосходил даже свою жену.

— Опрятность,— говорил я жене.— Опрятность — непременно — опрятность прежде всего. Опрятность — это смелость!

— Смелость? — равнодушно поднимала брови жена.— Что ты подразумеваешь под смелостью?

— А неопрятность — это какая-то робость!

— Я тебя плохо понимаю, Филипп.

— Чистота все сглаживает! Опрятность — это глянец! Опрятность — это образец! Ненавижу всякую аберрацию, всякие индивидуальности, это как первобытный лес, чаща, «в которой и кабан, и заяц несутся дико и свободно». Ненавижу голый примитив, который скачет с визгом и воплями... Это ужасно... О, о! Это ужасно!

— Не понимаю,— холодно сказала жена.— Но, но... à propos, о чистоте... Скажи, Филипп, что ты вытворяешь в ванной? Почему ты моешься с таким шумом, весь дом содрогается — хлюпанье, всплески, всхрапывания, бульканье, харканье. Вчера услышал почтальон и спросил, что это значит. Мыться следует спокойно, признаюсь, я не вижу оснований для шума.

— Разумеется. Наверно, ты права. Но как подумаю, что делается в мире, как подумаю о всей той грязи, которая заливает нас, которая залила бы нас, если б мы не мылись. О, как я ее презираю, о, как ненавижу! Отвратительно! Послушай! И ты ведь презираешь, как и я, скажи, что презираешь!

— Я не понимаю, почему ты так волнуешься,— холодно

сказала жена.— Я не презираю. Я — игнорирую.

Она посмотрела на меня.

— Филипп, я вообще очень многое игнорирую.

Я с готовностью кивнул.

— Я тоже, сокровище мое.

Игнорировать? Хорошо, раз она так сказала, я не имел ничего против, ведь я тоже уже давно погружен в тупое безразличие. Но однажды ночью я открыл, что безразличие моей жены далеко не безгранично, и едва не дошло до семейного скандала. Я проснулся оттого, что кто-то грубо тряс меня за плечи. Она стояла надо мной в наброшенном второпях халате — изменившаяся до неузнаваемости и трясла меня с яростью и с отвращением:

— Филипп, проснись, перестаны! Ты выкрикиваешь во сне какие-то слова! Я не могу их слышать!

— Я? Во сне? Разве? Какие слова?

— «Здесь живет госпожа Ковальская?» — сказала она, содрогаясь всем телом.— «Здесь живет госпожа Ковальская?» А потом кричал — *хвост* — это ужасно — какой-то *хвост*, *хвост* пришить какой-то *кобыле*,— она едва прикоснулась к этим словам кончиком языка.— А потом застонал и стал бормотать, что задушишь — задушишь какую-то бледную, холодную, удушливую луну, и непрерывно повторял одно слово: «ненавижу». Филипп! Что за луна?

— Ах, пустяки, душка моя. Откуда я знаю, что мне во сне прибрелось. Луна? Может быть, лунатическое...

— Но ты говорил, что задушишь... задушишь... И к тому же — так непристойно выражался!

— Наверно, это какое-нибудь воспоминание молодости. Видишь ли, я старею, а в старости вспоминается молодость, как суп, который ел тридцать лет назад.

Она смотрела на меня исподлобья — она дрожала,— и вдруг, к величайшему своему удивлению, я открыл, после долгой супружеской жизни, что она боится. Ах — она боялась, в точности так же, как мышь боится кота!

— Филипп,— сказала она с тревогой,— луна...— (это ее напугало больше всего),— луна...

— Но тебе незачем беспокоиться, душечка, ты ведь не селенитка.

— Селенитка? Как это? Разумеется — нет. Но что это

вообще означает — «селенитка»? Конечно же, я не селенитка, Филипп! — закричала она вдруг. — У меня не было с тобой ни одной спокойной ночи! Ты знаешь, что ты храпишь? Я никогда не говорила тебе из деликатности, но, ради Бога, опомнись, попробуй как-то взять себя в руки и объясни мне все, или это кончится бедой, увидишь!

Она застонала.

— Ни единой ночи! О, как ты заливаешься, как ты свистишь, как ты трубишь ночью! Словно выезжаешь на охоту. Зачем я за тебя вышла? Ведь могла выйти за Леося. А теперь, когда ты начинаешь стареть, все стало еще хуже, и к тому же скоро весна. Филипп, объясни же, что это за луна!

— Но как я могу объяснить, я сам не понимаю, душечка.

— Филипп, ты не хочешь понимать. — И она добавила, барабаня пальцами по ночному столику: — Филипп, я подчеркиваю, я не знаю, что это за луна, кого ты проклинал и вообще что все это значит, но если случится что-нибудь, помни, я была хорошей женой. Я всегда желала тебе добра, Филипп.

Я удивился, что храплю (что ее волнует!), — и зачем в таком тоне со мной?.. Ведь я всего лишь бесстрастный, да, безобидный, сидящий господин, достаточно потрепанный жизнью, нормальный в тиши домашнего уюта и умеренный на службе, и только. В результате я стал слегка заигрывать с нашей бойкой горничной. Жена заметила — сразу же выставила ее и наняла новую. Я и с этой начал заигрывать. Жена и ее удалила, но и новой горничной я принялся отпускать любезности, и эту жена выставила.

— Филипп! — сказала она. — C'est plus fort que moi*.

— Ничего не поделаешь, дорогая! Видишь ли, я старею, но, прежде чем отправиться на заслуженную пенсию, я хотел бы еще порезвиться. В конце концов, эти бойкие горничные, щеголяющие в чепчиках, эти барышни-служанки, ты же знаешь — фирменное блюдо для дипломатов, его подают в самых фешенебельных домах!

Тогда жена наняла горничную постарше. Но и с ней повторилось то же самое, — ах! — и тогда жена, думая, что у меня временный каприз, минутное помрачение, наняла, на-

* Это сильнее меня (франц.).

конец, фефелу в платке, на которую, как она полагала, никто не мог позариться.

И тогда я, разумеется, притих. В комнату прислуги внесли неизбежный сундук, я не поднимал глаз и только во время обеда видел ее ужасный толстый палец, видел шершавую темную кожу предплечья, слышал шаги, сотрясающие дом, вдыхал отвратительный запах уксуса и лука и ловил, уткнувшись в газету, шумные, угловатые, неуклюжие движения ее громоздкого тела. Я слышал ее голос, слегка хрипловатый голос, не деревенский и не городской, временами визгливый смех доносился из кухни. Я слышал не слушая, видел не глядя, и сердце мое билось, и я снова был робким, боязливым, как когда-то на черной лестнице, бродил по дому и одновременно что-то прикидывал и комбинировал. Нет, тревоги жены были напрасны — ну какое же коварство могло угрожать ей со стороны человека, который уже завершает свой путь... и который перед уходом всего лишь хочет набрать в грудь немного давнего воздуха да насмотреться и послушаться...

И я внимательно наблюдал игру элементов, житейский трагифарс — как жена воздействует на служанку, а служанка — на жену и как в этом столкновении проявляются во всей полноте и жена, и служанка. Сначала жена не произносила ничего, кроме «ох!». И я видел, что от грохота шагов служанки она трясется, словно желе, однако ради меня она готова была выдержать намного больше. Служанка внесла в наш дом вместе с сундуком свои проблемы, а значит — паразитов, зубную боль, простуду, нарывающий палец, большие слезы, большой смех, большую стирку — все это начало заполнять дом, и жена все сильнее поджимала губы, оставляя лишь узенькую щелочку. Естественно, сразу же началось обучение служанки, я в сторонке исподтишка наблюдал, как этот процесс приобретает все более жестокий характер, превращаясь постепенно в форменное искоренение. Служанка корчилась, словно ее жгли каленым железом, не могла сделать и шагу в согласии со своей натурой, а жена не уступала — росло подавление, росла ненависть, тем более что и меня она слегка ненавидела, так сказать, побочно, хотя я не смог бы объяснить, отчего и почему. И я наблюдал с едва скрываемым изумлением, как противостоят жене при-

митивные силы, абсолютно не похожие на мыло «Майоль», наблюдал этот жестокий и доисторический бой.

Кроме всего прочего, оказалось, что у служанки урчит в животе. Жена пичкала ее лекарствами, но ничего не помогало, из живота постоянно доносилось таинственное, гулкое бурчанье — словно голос из бездны. Жена установила служанке диету, запретила есть все, что могло вызывать эти звуки, и в конце концов накричала на нее:

— Чеся, я тебя вышвырну вон, если ты наконец не прекратишь!

Служанка испугалась и с тех пор со страху бурчала с удвоенной силой, а жена, бледная и раздраженная, видя свою беспомощность, делала вид, будто не слышит, ее выдавало только легкое подрагивание ресниц.

— Чеся,— заявила жена,— я требую, чтобы ты купалась раз в неделю, лучше всего в субботу — и нужно мыться как следует, щеткой и мылом, Чеся!

Через пару недель жена тихонько подкралась к ванной комнате и осторожно заглянула в замочную скважину. Чеся стояла перед ванной одетая и хлюпала в воде термометром, а щетка и мыло лежали рядом нетронутые и сухие. И снова поднялся крик. Бесперывное раздражение незаметно превратило мою жену в типичную дамочку-мещаночку, кислую и агрессивную, мне даже страшно стало, с бешенством сороки она кричала на жениха, который навещал служанку по вечерам, и спрашивала:

— Что тебе нужно? Убирайся! Нечего здесь! Я не позволю, чтобы тут кто-то сидел! Убирайся! Сейчас же! И больше не приходи! — ну словом, совсем как одна из тех строгих дамочек-мещаночек.

Все это, эти удивительные перемены я наблюдал в состоянии некоторой каталепсии, часами рисуя вилкой на скатерти. Что ж, ничего уже не вернуть, оставалось только подвести итог, уплатить по счетам — и разве что послушать напоследок, перед концом, сладкий грешный шепот молодости. Давние, забытые истории, давний стыд и давняя ненависть долбили мне мозг, как дятел долбил зимой промерзшие голые деревья, манили меня из-за угла толстым грязным пальцем. О, каким я был жалким нынче, словно выброшенный на гальку течением, куда девались страх, беспокойство, стыд и сму-

щение? И много еще подобных щекотливых вопросов — неужели я загубил свою жизнь? Неужели глубина — только в грязи? Неужели под грязными ногтями прячется — глубина? И я бессмысленно выводил пальцем на окне: «Горе тому, кто покинет родную грязь ради чужой чистоты, грязь всегда своя, чистота — всегда чужая».

И я мимоходом размышлял на туманные темы — например, о том, что на толстую грязную кухарку приходится определенная сумма уродства и грязи и если эти грязь и уродство из нее вычесть, то она уже не будет толстой грязной кухаркой. Однако у каждой служанки есть жених, и этот жених если любит, то любит страстно и целиком — красоту и уродство вместе, из чего следует, что и уродство можно любить. А если уродство можно любить, то зачем с ним бороться? И еще я думал: кто любит только красоту и чистоту, тот любит едва ли половину существа. А дальше мысли текли уже бессвязно — не нужно забывать, что у меня развивался склероз, — мне грезились какие-то штучки, кружева, орешки и огромная насмешливая луна всплывала над землей. Смелость насмехается над жалкой робостью — маленькая, стройная, триумфальная ножка издевается над ногой угрюмой и допотопной. Кто-то когда-то сказал, что жизнь — это смелость. Нет: смелость — это медленная смерть, а жизнь — это именно пугливая робость. Кто любит безобразную кухарку, тот живет, а медленно увядают — на классическом лоне.

— Чеся, — сказал я как-то служанке, — барыня говорит, что ты ужасно крикливая. Она говорит, что из-за этого у нее мигрень.

Служанка охнула:

— Барыня думает, что служанка не человек!

Я же спросил:

— Чеся, правду ли барыня говорит, что, когда ты ходишь по комнатам, саксонский фарфор на полках дребезжит, словно вот-вот разлетится на кусочки?

Чеся хмуро сказала:

— Та ну, барыня ко всему цепляется.

Я ответил:

— Барыня не любит служанок! Не только Чесю, но и других служанок в нашем дворе. Барыня считает, что они слиш-

ком громко, слишком вульгарно галдят и болтают чепуху — уши вянут — и к тому же распространяют заразу. А еще барыне не нравится, что каждая служанка — воровка, у барыни от этого мигрень. И женихи тоже, как барыня считает, воруют и распространяют заразу.

Сказав это, я надолго замолчал, будто вообще ничего не говорил, — и, возвращаясь из министерства, как всегда, погружался в чтение газет. Вскоре жена предложила мне уволить служанку.

— Последнее время, — сказала жена, — она задрала нос, смотрит как-то исподлобья и, кроме того, постоянно торчит на лестнице и сплетничает с чужой прислугой. Как-то вхожу на кухню — их там сидит аж четверо. Во дворе сплетничает с дворником, я считаю, пора ее уволить.

Я ответил:

— Э, пусть еще побудет. Она болтливая, но вежливая. Не ворует.

Но жена начала ужасно — я бы сказал так: непропорционально — нервничать.

— Чеся, над чем это ты так смеялась сегодня с дворничихой?

— Та ну, ничего такого, просто языки чешем.

— Не вижу причин для смеха, милая Чеся, — кисло сказала жена. — Воображаешь, наверно, что ты очень умная.

Не знаю, чему это приписать, но нервы решительно отказывались подчиняться жене. Она пришла ко мне с форменным скандалом: минуту назад вышла на балкон, а служанка из дома напротив сказала что-то тамошней кухарке, обе посмотрели на жену и взорвались смехом — так вот, я должен накричать на них. Я высунул голову в форточку и закричал:

— Это еще что за шуточки! Я бы попросил! Это глупые шутки!

Но порой мне действительно казалось, что жена моя страдает манией преследования.

— Уволим ее с первого числа. Ее строптивость перешла все границы. Она распространяет о нас всякие сплетни. Я запретила ей водиться с прислугой, а сегодня снова застучала на лестнице хохочущей с дворником и кухаркой снизу. Я не в силах больше терпеть этот идиотизм!

— Зачем сразу выгонять? Может, еще обтешется.

— Филипп,— сказала жена с неожиданным спокойствием,— я ничего не имею против того, чтобы вернулась наша прежняя горничная. Послушай,— продолжала она, с трудом сдерживаясь.— Что это значит? Чеся нагло смеется у меня за спиной — и кто ее этому научил? — я чувствую, чувствую кожей, как только я повернусь к ней спиной, она кривляется, показывает язык и всячески изгиляется. Я это чувствую.

— Что с тобой, сокровище мое, может, ты нездорова? Чего бы ей смеяться, если в тебе нет ничего смешного?

— Откуда я знаю, чего она смеется? От глупости. Разумеется, своей, а не моей. Наверно, что-то такое увидела во мне.

— Может, ее смешит твой маникюр, твои зеркально отполированные ногти,— сказал я задумчиво,— а может, то, что ты нос вытираешь носовым платочком. Бог его знает, что может насмешить невежественную и некультурную кухарку,— может, ее смешат твои кружевные панталончики?

— Перестань! — закричала жена.— Мне неинтересно! Не только она, и другие смеются! Бессмысленный грубый смех! Наглость! Иди к хозяину! В голове у меня все перемешалось! Я заболела!

Я накричал на Чесю:

— Чеся, ты зачем нервируешь барыню, ты же знаешь, барыня существо хрупкое, барыня легко может заболеть!

И я пошел к хозяину с жалобой на беспорядок, царящий в доме, но на другой день кто-то бросил в меня из окна гнилую луковицу. Может быть, мне и казалось, но в весенних голосах нашего двора мне слышалась какая-то глупость, какая-то вульгарность, какая-то внезапно проснувшаяся ужасная смешливость, словно кто-то щекотал перышком пятки мастодонта. Кажется, служанка из флигеля осмелилась расхохотаться чуть ли не прямо в глаза моей жене, на входных дверях появились какие-то ужасные рисунки — о Боже, какие-то безобразные карикатуры, нарисованные мелом,— и я, и моя жена фигурировали там в ужасном виде и в ужасных позах. Эти рисунки служанка по приказу жены стирала по несколько раз в день — жена, доведенная до бешенства, даже пряталась в прихожей и вы-

скакивала на лестницу при малейшем шуме, но никогда никого не могла поймать. В общем, устраивали нам всякие пакости.

— Полиция! Где полиция? Полиция! Как они смеют! Вышвырнуть всю прислугу, дворника, его детей! Дети дворника — такие же наглецы! Это мафия! Заговор! Чеся, ты слышишь? Полиция! Чего ты так смотришь? Я запрещаю смотреть! Убирайся! Убирайся сию же минуту!

Но крик только распалая дерзость, бесстыдство и ужасную скрытую ненависть.

— Филипп,— сказала жена, дрожа от страха,— что это такое? Что это значит? Вокруг нас какая-то сплошная грязь, они что-то затевают. Что они во мне нашли, чего они хотят от меня? Филипп...— Она посмотрела на меня и вдруг побледнела, посерела, угасла, отошла тихо в угол, села.

А я остался в своем кресле, с газетой в одной руке и забытой догорающей сигаретой в другой, и долго думал. Конечно, можно вышвырнуть служанку, можно также сменить квартиру, даже переехать в другой квартал, да, можно, не будь я такой беспомощный, боязливый и робкий. Жена спрашивала у меня, что это значит? Что значит — что? Кто же тут, ей-Богу, смешной, дикий и безобразный? Жена ненавидит прислугу, но ведь и прислуга ненавидит жену. Я склонялся над этой ненавистью, брал ее в дрожащие руки, и всматривался в нее затуманенным взглядом старика, и вслушивался в долетающий из кухни напористый голос:

— Так от барыня говорят, что ежели бы они захотели все рассказать, какой у них сон затейливый, то я бы, верно, первой померла со стыда, а барыню бы кондрашка хватил.

Я слушал, молчал.

Но как-то раз жена сняла свое обручальное кольцо и оставила его на обеденном столе, а я это колечко — ох, совершенно машинально, я ведь был погружен в свои мысли,— колечко это я взял да и сунул себе в карман. А потом спросил у жены:

— Милая, а где твое колечко?

Жена сразу же посмотрела на служанку, а служанка на жену, и жена сказала:

— Чеся!

Чеся сказала:

— Я слушаю!

Жена закричала:

— Воровка!

Служанка — руки в бóки — грубо заорала:

— Сама ты воровка!

Жена:

— Молчать!

Служанка:

— Сама молчать!

Жена:

— Пошла вон! Сию минуту пошла вон!

Служанка:

— Сама пошла вон!

Ох, что тут началось! Уже из всех окон повысовывались головы, уже отовсюду слышался визг, проклятья, брань, уже нарастает ужасный смех, потом я вижу — служанка схватила мою жену за волосы и таскает, таскает, и, как сквозь туман, слышу голос жены:

— Филипп!

Крыса

Грозой всей округи, исстари живущей в покое и достатке, был разбойник, гуляка и супостат, известный под кличку Хулиган. Родился он в чистом поле, широком раздолье — рос в лесах, горах, лугах и долинах — никогда не спал в закрытом помещении — отсюда и взялась особая крепость и широта его натуры — размах души — бурная перменчивость нрава. Да, то была широкая натура, не терпящая тесных закоулков и гордая вышить — и иных жестов, кроме широких, бандит не признавал. Злодей Хулиган ненавидел все узкое, тесное, мелочное, например, воров-карманников, и коли ему предоставлялся выбор: ущипнуть или ударить, бил — и тяжелым широким шагом уходил в поля, распевая что есть мочи: «Эй, гей, э-ге-гей!»

Ему уступали дорогу. А если кто не успевал уступить, бандит Хулиган засаживал раззяве кулаком поддых, либо поднимал в воздух и шмякал оземь — а то просто избивал в кровь, — после чего отшвыривал в сторону и шел дальше. Но никогда он не позволял себе тайных и мелких злодейств, все его убийства были шумные, смелые, разухабистые и громкие, при народе, с песнями: «Эх, Марысечка, Марыся!»... Или: «Ой, дана! Ой, Марыська!»... Потому что Марыську свою Хулиган любил пуще всего на свете, любил громко, шумно и широко, с плясками, с притопами, с водкой!

Да, натура его была широка — шире некуда. Что такое тишина, он вовсе не понимал — а уж тем более, что такое тихость — та самая тихость, которая по нынешним временам, можно сказать, в людях главная злодейская черта, — он даже спал громогласно, с открытым ртом, храпя и наполняя храпом долины. А еще не выносил Хулиган кошачьего духу и, завидев кошку, гнался за ней десять, а иной раз и двадцать километров, с женщинами же привык распускать

лапы и при этом вопил: «Еть тебя трах! Еть тебя трах!» Или покрикивал: «Эгей, о-го-го! Ух-ха! Н-но!» И в точности так же лапал эту Марыську, свою ненаглядную! Порой, правда, брала Хулигана тоска, и тогда вся окрестность оглашалась его зычными протяжными думками, отливающими темной меланхолией, и с восходом луны услышать можно было молитвенные, молодецкие, казачьи, собачьи или же низменные, приземистые причитания, скулеж бандита. «Гей, гей, — пел он, — гей ты, долюшка, доля! Гей, Марыся! Марысечка!» И, впадая в уныние, отзывались на задворках псы, воя темно и глухо. Вой этот в конце концов заражал людей. И вся округа выла глухо, черно и тоскливо, прямо на луну, которая бледно светила: «Гей ты, долюшка, доля!»

Ширилось, разливалось вокруг разбойника пенье. Он помалу сам становился легендой, и про него уже слагали песни — то полевые, раздольные, то громкие, забубенные, но всегда с одним и тем же монотонным припевом: «Эгей! Эге-гей! Эхма, эх-ха-ха!» И наполнилась околица пеньем, гуляньем и убиваньем... Но неподалеку в заброшенной и обветшалой усадьбе проживал с незапамятных времен некий старый холостяк, бывший судья Скорабковский, которого чрезвычайно нервировало безудержное буйство округи. Он то и дело украдкою бегал с жалобами к властям — в сторожайшем, однако, секрете.

— Не понимаю, сколько можно терпеть, — нашептывал он. — Убийства среди бела дня... Пьянки-гулянки... Попойки в корчмах. И это пенье, ах, это пенье, этот рев, эти вечные причитания, вопли... И эта Марыська, Марыська...

— Чего вы хотите? — Комендант полиции был поперек себя шире. — Чего вы хотите, власть бессильна. Бессильна, — повторил он и посмотрел в окно на бескрайние перелogi, средь которых кое-где зеленели одинокие деревья. — Народ его любит. Покрывает его.

— Как это покрывает?! — возмутился бывший судья, метнув взгляд из-под полуопущенных век на равнину — далеко, на добрую дюжину километров вперед, к песчаным холмам Малой Воли — и немедленно упрятав его обратно под веки. — Люди ж из дому выходить боятся! Убивает он...

— Убивает, да не всех, — пробормотал в ответ комендант на фоне равнинной безбрежности, — остальные смотрят...

Неужто не понимаете? Для них это потеха — поглазеть на славное убийство... Ого,— буркнул он и сделал вид, будто не видит, как из близлежащей купы деревьев вдруг взлетел кверху труп, вслед за чем послышался великолепнейший рев, словно тысяча буйволов пронеслась по полям, вытаптывая посевы.

Солнце клонилось к закату. Комендант полиции закрыл окно.

— Не хотите ловить, я его сам поймаю,— сказал вроде как про себя судья.— Поймаю и посажу. Посажу и обкорнаю эту его широкую натуру. Обкорнаю и слегка обужу.

Но комендант только вздохнул.

— Прекрасно! Прекрасно...

Скорабковский вернулся в свою заброшенную усадьбу и, бродя в табачного цвета халате по пустым покоям, строил планы поимки злодея. Ненависть скряги к бродяге усиливалась с каждой минутой. Настичь, схватить, запереть и хоть немного утишить — стало первой потребностью его тесноватой души. В конце концов он решил использовать дьявольскую прямолинейность злодея, который имел обыкновение жертвы свои преследовать исключительно по прямой линии,— больше того — возжелал сыграть на его постоянно растущей, уже просто-таки непомерной наглости. Поистине, злодей настолько обнаглел, настолько привык обращать всех и каждого в бегство, что человека, не убегающего, а стоящего на месте, воспринимал как личное оскорбление. Поэтому Скорабковский велел своему лакею Ксаверию встать под дерево на ближайшем взгорке — а когда старый слуга исполнил приказ хозяина, тот внезапно набросил на него цепь — и приковал этой цепью к стволу. Затем собственноручно вырыл перед слугой глубокую яму, установил на дне ямы капкан и поспешно укрылся в доме. Смеркалось. Ксаверий долго смеялся над шуточками «паныча», но когда взошла луна и осветила окрестность вплоть до далеких лесов на горизонте, слуга постепенно начал смекать, зачем его приковали к дереву на взгорке, почему безжалостно отдали на произвол ночного пространства. Завыли собаки — а из камышей донесся тоскливый зов разбойника, которым овладела одна из его степных ностальгий. И раскатился по ночи истошный и страшный вопль: «Эх, Марыська,

Марыська, Марысечка...» — унылый, хмельной, растерзанный, беспредельный, и, казалось, нет ему удержу и не будет. Первым — жестоко, дико, бесстрашно и неистово, выворачивая душу — начал выть разбойник, затем вой подхватили цепные псы — и следом робко, с опаской, в запертых на все запоры хатах принялись выть в форточки люди.

«Паныч! — хотелось крикнуть Ксаверию. — Паныч!» Но кричать он не мог: крик привлек бы внимание разбойника... а боязливый шепот лакея не доходил до Скорабковского, который через форточку безотрывно следил за ходом событий. Ксаверий сетовал, почему мы не можем исчезнуть, почему нас выставляют напоказ против нашей воли и желания, почему кто-то другой может нас подставить и сделать за нас с нами то, чего сами мы сделать не в силах. Старый слуга проклинал *зримость* нашего тела, от нас не зависящую! Но разбойник уже вставал, уже поднимался из своего логовища, и старик волей-неволей должен был попасться ему на глаза — растревожить его зеницы — по главному нерву проникнуть в мозг... и вот уже Хулиган неся огромными скачками, готовый раздробить челюсть, разможить нос и грудь, свернуть шею, выставленную и подставленную! Оооо! Аааа! И вдруг... свалился в яму и угодил в приготовленную Скорабковским ловушку, а тот немедля прибежал и, потрудившись изрядно, кое-как ухитрился перетащить огромную тушу буяна в укромный подвал старой усадьбы.

Итак, Хулиган был в его власти! Разбойник Хулиганище был брошен в подземелье, заперт в тесной клетушке, заткнут кляпом, прикован к крюку, отдан на милость победителя! Бывший судья потер маленькие ручки и ухмыльнулся украдкой, после чего целую ночь обдумывал достойные Хулигана мученья. Лишать гуляку жизни Скорабковский отнюдь не собирался — тупой и узколобый формалист, он жаждал притупить и обуздать жертву, смерть разбойника ему не улыбалась, суженье его — вот что было лакомым кусочком. Пенсионер не спешил, первые дни он наслаждался самим сознанием, что Хулиган у него в руках, в подвале его дома — что разбойник не может реветь и производить шум, ибо он *заклепан*. И лишь свыкнувшись с мыслью, что грозный крикун не в состоянии кричать, что он *стих*, — тогда только судья Скорабковский отважился сойти в подвал и в полном

молчании приступил к манипуляциям, имеющим целью сужение и окорачивание. О, как же было тихо! Какой могучей была тишина, рождавшаяся в подвалах дома и выраставшая до небес. И потянулись недели и месяцы великой тишины, тишины невыкрикнутого крика...

Каждый вечер около семи часов Скорабковский в табачного цвета неглиже спускался в темницу с палочками или железными спицами в руке. И каждую ночь, начиная с семи вечера, узколобый бывший судья в поте лица своего трудился над безгласным разбойником, и все молчком, молчком... Втихомолку подкрадывался и для начала щекотал ему пяtku — долго-долго, чтобы вырвать судорожное хихиканье, а потом учинял разные мелкие пакости при помощи палочек и сжал поле зрения дощечками, вставлял шпильки и показывал, где раки зимуют... Но разбойник не молчком все это сносил, а *молча*. И молчание его росло, ширилось и разливалось во тьме, уподобляясь прекраснейшему рыку — и тщетно старался судья своим молчаньицем одолеть безбрежное молчанье бандита — и ненависть затопляла подземелье! Чего же, собственно, добивался Скорабковский? Он хотел изменить натуру бандита, переделать голос, широкий смех превратить в узенькое хихиканье, рев утишить до шепота, а самого его укоротить и скукожить — словом, уподобить себе, Скорабковскому. С рвением дотошного исследователя он искал в нем уязвимые места, подвергал изощренным и страшным экспериментам, дабы отыскать точку *minoris resistentiae* *, самое слабое место, и, отыскав, хорошенько допечь злодея. Однако злодей слабых мест не обнаруживал, он только молчал.

Много раз старому судье казалось, что путем усердных стараний он сумел добиться некоторого сужения, — однако каждую неделю наступал момент испытания, и то была страшная для палача минута, которой жалкий молчун боялся больше всего на свете. Раз в неделю ему приходилось вынимать затычку изо рта разбойника, чтобы его накормить, — о, с каким же леденящим душу смертельным ужасом, плотно заткнув уши ватой, ставил он перед поверженным громилой миску с похлебкой и одним судорожным движением вы-

* наименьшего сопротивления (лат.).

таскивал изо рта кляп. И всякий раз тешил себя надеждой, что, быть может, ему все-таки удалось чуть-чуть утишить бандита: вдруг сегодня не чебурахнет... И всякий раз чебурахало: откупоренный злодей извергал чудовищный поток воплей, проклятий, рыков! «Еть тебя трах, еть тебя трах! — ревел он.— Падла! Вон! Убирайся! Ужо я тебя! В морду, в рожу... Я, Хулиган, еть тебя трах, в бога маты! Убью! — ревел он.— Убью! Марыська! Марыська! Где Марыська, эй, Марысечка!» И наполнял подвал ревом, который разносился по окрестностям, сыпал проклятиями, орал песни, облегчал душу, а бледный как полотно, куцый, скрюченный палач пихал ему вареву в пасть... а он ревел в промежутке между глотками. Жители же соседних сел повторяли: «Это Хулиган ревет! Хулиган еще ревет!»... Бывший судья после каждого такого сеанса возвращался, насмерть перепуганный, к себе и искал, искал без устали точку *minoris resistentiae*.

И наконец нашел.

Это была крыса.

Странное дело, крыса...

Когда однажды крупная крыса забежала случайно в темницу и проскользнула вдоль стены, несгибаемый до тех пор гуляка съежился.

Скорабковский вырвал кляп у него изо рта. Но, раскупоренный, Хулиган не взорвался ревом, он смолчал, провожая крысу взглядом. Жуткое отвращение и страх оказались сильнее его. И только когда крыса прошмыгнула возле самой его ноги в путах, разбойник судорожно засмеялся, на октаву выше...

Наконец! Наконец! Как же благодарить Бога! На колени за эту непостижимую милость! Наконец-то нашелся способ! Судья на пенсии не в силах был сдержать слез! Да, согласно непонятному замыслу Природы каждому, даже самому сильному человеку уготована на этом свете одна-единственная вещь, которая сильнее его, которая выше его и которая для него непереносима! Одни не выносят примул, другие — печенку, у третьих появляется нервная сыпь от земляники, но — что поразительно! — убийца, которого не сломили ни палочные, ни шпилечные пытки, да и никакие другие из тысячи изощреннейших манипуляций, сильнее которого, кажется, не было ничего, боялся крыс. Не переносил крыс!

Был слабее крысы. Бог ведь почему. Уж не боялся ли разбойник, давивший людей, как клопов, убить крысу? — ах, не ее он боялся, не крысы — он боялся крысиной смерти, гнушался ею, как ничем другим, смерть крысы вызывала у него неодолимое отвращение, и он не мог крысу убить — никакая иная смерть, ни свиньячья, ни телячья, ни человечья, ни паучья, ни куриная, ни лягушиная и в тысячной своей доле не была для него такой страшной, омерзительной, тошнотворной, слизкой, клейкой и неестественной, как крысиная смерть! Грозный супостат оказался беззащитен перед грызуном, чья смерть была единственной недоступной ему, неприемлемой смертью. И потому при виде крысы он коченел и съезжался, корчился и скукоживался, дрожал и трясся. Наконец-то!

Наконец старый судья Скорабковский стал господином и повелителем Хулигана!

И с этого часа немилосердно науськивал на него крысу.

С крысой на поводке он подкрадывался и приближался, сужал злодея и укорачивал, а иногда на секунду запускал крысу ему в штанину и утоньшал его голос до писка или же заставлял цепенеть, держа крысу над головой, либо, наконец, крутил, вертел и мотал крысою вокруг усмиренного буяна. В кляпе больше не было нужды! Гуляка уже не мог кричать, а тем паче реветь, и так проходили недели и даже месяцы, а старый лакей Ксаверий, коему поручено было освещать безжалостного зверька свечой, стонал и в душе молился — с дыбом встающими волосами, с замирающим сердцем, старый лакей умолял крысу сжалиться, проклинал страшные и, как казалось ему, неразрывные связи в природе, клял безграничность безжалостности. «Будьте вы прокляты, и крыса, и паныч, и дом, и натура разбойника, и натура судьи, и натура крысы, о да будут прокляты все натуры, и ты, Натура, будь проклята тоже!» Шли годы. Все сильнее, все нестерпимее становилась мука, все больше, не зная ни сна, ни отдыха, окорачивал Скорабковский свою жертву крысой — и напряжение росло, росло, росло.

И все время — крыса.

Бесперывно — крыса.

Только лишь — крыса.

И крыса, и крыса, и крыса...

Пока однажды Ксаверий, будучи на пределе напряжения, не помчался, нагнувши голову, за крысой, которая с визгом сорвалась с поводка и сиганула прочь, убежала куда подальше, в укывище, в норку. Разогнавшись, слуга остуился и — головой вперед — полетел на судью...

Скорабковский, напряженный до последней крайности, остуился и наклонил голову...

И — головой вперед — ринулся на Ксаверия. Треск расколота тишину подземелья, брызнули мозги — ах! и злодей Хулиган, проведший одиннадцать лет и четыре месяца в заточении, обрел свободу: палачи его лежали бездыханные. И крысы не было! Разбойник сглотнул слюну, подумал, что надо уходить, — и посредством мелких телодвижений принялся освобождаться. На рассвете он выпутался из пут, приоткрыл дверь, ведущую на маленькую увитую виноградом веранду, и выскользнул на волю — некогда громадный, а ныне порядком обкромсанный верзила. С веранды он нырнул прямо в кусты и кустарником стал пробираться вдоль гати, а солнце тем временем поднималось над горизонтом. Вдруг пастух в отдалении закричал:

— Корова, корова-а-а!

И Хулиган поспешно присел под кусток. О, он бы с радостью забился в какой-нибудь закуток, залез в нору, в щель, в расселину, в яму, забрался в чашу, прикрыл хребет и прочие уязвимые места. Бандит смотрел под ноги. Легкий ветерок овеял его, но ни вдыхать, ни вздыхать, ни упиваться им он и не думал, а лишь настороженно и внимательно обшаривал взглядом землю под ногами. Одна мысль его занимала: что стало с крысой? Куда девалась крыса, которую Ксаверий выпугнул в подвальную щель?

Но крысы не было.

Хулиган, однако ж, не отрывал взора от земли. Слишком хорошо он познал ужасность крысы, в избытке нахлебался неиссякаемого крысиного страха, чтобы само отсутствие грызуна не оказалось для него важнее наисладчайших голосов и дуновений мира, — нет, все остальное являло собой лишь орнамент, крыса или отсутствие крысы — вот что было важно! И слух бандита был настроен исключительно на слабые шорохи, схожие с шурканьем, а глаз воспринимал только формы, напоминающие крысиные, и поминутно у него

возникало ощущение, будто вот, он уже различает... вот, уже угадывает... почти что слышит и осязает это шмыг, шмыг, шашть, шашть, шурк, шурк...

Но крысы не было.

А ведь невысказанным казалось, чтобы грызун, столько лет в столь тесном и мучительном союзе с особою его пребывавший, соединенный с его особою в истязательную систему, привыкший к его особе более, чем когда-либо какое-либо животное привыкало к человеку, — невысказанным казалось, чтобы грызун (нельзя еще забывать о такой вещи, как слепая привязанность животных) мог оторваться от него, исчезнуть, отступить — просто так, здорово живешь...

Но крысы не было.

Когда же вдруг что-то продолговатое стремительно промелькнуло по краю большого солнечного пятна и скрылось...

Неужто крыса?

Гуляка водил туда-сюда, шарил взором, не будучи абсолютно уверен, но опять что-то зашуршало в сухой листве.

И опять — неужели крыса?

Да, почти наверняка — крыса.

Он — шаг, а за ним — шмяк

Верный друг крыса!

Он — прыг, а за ним — шмыг

Верный друг крыса!

Хулиган бросился к дереву, притаился в дупле, а крыса бросилась в кустарник, притаилась в кустах. Но дупло не обещало надежной защиты — невменяемый грызун, ослепленный светом дня, исторгнутый из подвальной тьмы, мог шмыгнуть под ноги, юркнуть в штанину. Разве не следовало ожидать, что извлеченная из темноты крыса, перепуганная, разоблаченная, в панике кинется искать какое-нибудь убежище, что-нибудь знакомое, а что могло быть более ей знакомо, чем штанина Хулигана? К какой другой норе она привыкла больше? И разбойник вдруг отчетливо осознал, что щели и дыры, которые ему принадлежат, ямки и закоулки, которые — хочет он того или не хочет — имеются в теле и между телом и одеждою, всего желаннее крысе, это ее укывища. Поэтому Хулиган выскочил из дупла и, гордый страхом, рванул напрямки куда глаза глядят, а за

ним (почти наверняка) низко над землей метнулась крыса. О, только бы отыскать яму, нору, расселину, щелку, укрыть спину, спрятать ноги, оградить себя со всех сторон, перекрыть доступ к своим таким соблазнительным впадинкам, щелям и дырам... и разбойник, выбравшийся из-под земли, мчался, мчался, мчался по лугам, лесам, долинам, холмам, полям и оврагам, унося дырки своя, а за ним (вероятно) мчалась крыса. Собрав последние силы, бандит бросился к какому-то лазу, который аккуратно ему подвернулся, не помня себя, втиснулся в проем, оберегая впадины своя, и зарылся в солому. Лишь спустя несколько минут заметил ошалелый злодей, что отверстие, в которое он проник, было проломом в деревянной стене сарая, и влез он в сарай, точнее, в ригу. В любую секунду, однако, из соломы могла выскочить крыса и забраться под мышку или во впадинку между складок рубахи, так что Хулиган высунул голову и настороженно огляделся. Но что это? Сон или явь? Где я? Эге, да это знакомый сарай! Кто же там лежит на току, на соломенной подстилке у противоположной стены? Эй, это же Марыся, Марыська! Эгей, Марыська тут лежит, Марыська отдыхает, Марыська спит, мерно дыша, ах, эге-гей, Марыська, Марысечка! Ой, дана, дана, Марысенька! Окороченный, до самых потрохов пронизанный крысиным страхом разбойник впился в спящую взглядом — верить не верилось, что это она... Девушка лежала, погруженная в сон, с полуоткрытым ртом, и Хулиган вскочил — вот сейчас, сейчас он запоет, заревет, как прежде — как в былые времена: «Марыся, Марыся... эх, Марыська, Марысенька...»

И вдруг сбоку вылезла крыса.

Изрядных размеров крыса высунулась из-под балки, осторожно скользнула на ток и замельтешила возле Марысиной юбки.

Опять, значит, крыса.

Рядом с Марыською — крыса.

На сей раз Хулигану не померещилось — осязаемая, доподлинная крыса мельтешила в четырех шагах от него на току. Разбойник замер. Вероятно, это был другой зверек — не тот, которым его истязали, — но крысы все настолько похожи, что полной уверенности у страдальца не было. Больше того, он также не был уверен, не оставило ли в нем

долголетнее и мучительное общение с одним из этих грызунов нечто притягательное для крыс вообще. Однако пуще всего он боялся, как бы не кинуться с перепугу на крысу: ведь тогда крыса с перепугу могла кинуться на него — нет, нет, надо действовать осмотрительно, как нельзя деликатнее обозначить свое присутствие, только чуть-чуть всполошить крысу, чтобы она снова спряталась в нору. Ради Бога! — избегать резких движений, не поддаваться панике, не заразиться дикой, подземной, мельгешаще-егозящей невменяемостью, свойственной этим страшным, шуркающим, визжащим, хвостатым обитателем подземелий! Разбойник отыскал место, где, по всей вероятности, находилась крысиная нора, и приготовился было к деликатному, едва слышному вспугиванию — в полной почти тишине, с легким только шорохом или, самое большее, покашливанием — как вдруг... крысу почему-то потянуло под правое колено девки. Она шмыгнула туда, и Хулиган замер: да, крыса коснулась ее, мерзкая тварь отерлась о ногу его девушки, его Марыськи — Марысечки!

И это самое прикосновение, это, страшнее всякого страха, отирание крысы о Марыську заставило бандита... взречься! Он взревел, как прежде, что было мочи, на весь белый свет, испустил давнишний свой неотразимый рык и бросился на крысу — с таким неистовым воплем, так плотно в броню рева закованный, что крысе ни за что было не пробиться сквозь этот рев к нему в штанину! И, не думая вовсе, что отрезает крысу от норы, злодей с ревом бросился на нее в лобовую. О, внезапный бросок Хулигана, о, прыжок крысы в сторону, о, отскок и подскок и рывок и скачок — и мгновенно овладевшая ревушим бандитом уверенность, что крыса от него не уйдет, что он крысу настиг, что он убьет крысу, напроць лишнюю дыр и нор!.. Уж не знаю, продолжать ли рассказ? Произнесут ли уста самое страшное? Ой, кажется, произнесут, ибо нет предела ужасному, да, да, безжалостность беспредельна, ужас, коли уж начнет множиться, множась, множится — множится, множась — бесконечно, безгранично, безудержно — и, нарастая, перерастает самого себя — автоматически. Ой, кажется, уста мои это произнесут: крыса... полуослепший грызун, перепуганный и преследуемый, одержимый тупой и

неодолимой манией дырки... крыса вскочила Марыське в рот, шмыгнула, нырнула в темную дыру полуоткрытого рта спящей о разверстых устах девки. И прежде чем Хулиган успел опомниться, он это увидел: крысу, ныряющую в рот, в панике ищущую укрытия в любимой полости рта! О, автоматизм! Марыська, разбуженная, еще не придя в себя, чисто автоматически, молниеносным движением сжала любимые челюсти — и нарушился автоматизм ужаса, пришел конец крысе с отгрызенной, отделенной от туловища головой, настигла крысу смерть.

Не было больше крысы.

А Хулиган постоял еще перед обгрызенной крысиной смертью в любимой полости рта любушки своей Марыськи. И с тем ушел.

Он — прыг, а за ним — шмыг

Смерть крысья

Он — шасть, а за ним — хрясть

Смерть крысы в полости рта Марыси.

Банкет

Заседание совета... тайное заседание совета... происходило в сумрачной и исторической портретной галерее, многовековая мощь которой превышала и огромностью своею подавляла даже мощь совета. Старинные портреты равнодушно и немо взирали с древних стен на торжественно-сосредоточенные лица сановников, взирающих в свою очередь на высохшую древнюю фигуру великого канцлера и главного государственного советника. Говоря по обыкновению сухо, сей сухой и могучий старец позволил себе выразить глубокую радость и призвал присутствующих министров и вице-министров почтить историческую минуту вставанием. Итак, в результате многолетних стараний достигнута договоренность о заключении брачного союза между королем и архипринцессой Ренатой Аделаидой Кристиной; Рената Аделаида уже прибыла ко двору; завтра на банкете в королевском замке жених и невеста (которые знакомы лишь по портретам) будут друг другу представлены, и союз этот, во всех отношениях блистательный, упрочит и беспредельно увеличит авторитет и могущество Короны. Корона! Корона! И однако, щемящее беспокойство, болезненная озабоченность, даже тревога омрачали умудренные, утонченные лица министров и вице-министров, и что-то недосказанное, что-то драматическое таилось в уголках увядших древних уст.

По единодушному решению совета канцлер открыл прения... однако молчание, глухое и немое молчание отличало завязавшуюся дискуссию. Первым попросил слова министр внутренних дел, получив же его, умолк и молчал от начала до конца своего выступления — после чего сел. Затем слово взял министр двора, но и он, поднявшись, промолчал все, что собирался сказать, после чего сел. В дальнейшем каждый

из просивших слова министров вставал, молчал, после чего садился, а молчание, упорное молчание совета, усугубленное молчанием портретов, а также молчанием стен, набирало силу. Меркли свечи. Канцлер непреклонно управлял молчанием. Время шло.

Что же послужило причиной молчания? Ни один из оных мужей не смел ни высказать, ни даже подумать мысли, которая, с одной стороны, была очевидна и лезла в голову с неодолимым упорством, а с другой — являлась не чем иным, как преступным оскорблением Монарха. Поэтому все и молчали. Как признаться, как произнести, что король... что король был... о нет, никогда, ни в коем случае, лучше смерть... что король... о нет, ах, нет, нет... ох... что король продажен! Продажной тварью был король! Король продавался! В бесстыдной своей, низкой, ненасытной алчности король был таким продажным продажником, какого еще не знала история. Взятчиком и мздоимцем был король! Король за фунты и золотники продавал собственное величество.

Внезапно тяжело растворились резные врата, и в зал вошел король Гнуль в мундире генерала лейб-гвардии, со шпагой на боку и в большой треуголке. Министры низко поклонились государю, который бросил шпагу на стол, а сам шмякнулся в кресло и закинул ногу на ногу, буравя собравшихся хитрыми глазками.

Совет министров в силу самого лишь присутствия на нем монарха превратился в коронный совет, и коронный совет приступил к выслушиванию заявления короля. В своем заявлении король прежде всего выразил радость по случаю удачного сговора его с архипринцессой, а также неколебимую веру и надежду на то, что его монаршья особа сумеет завоевать любовь императорской дочери, однако не преминул тут же подчеркнуть, какое тяжкое бремя ответственности ложится на его плечи. И что-то такое неизмеримо продажное было в голосе короля, что совет в полном молчании содрогнулся.

— Мы не станем скрывать,— заметил король,— что участие в завтрашнем банкете для нас неизмеримый труд... нам придется изрядно поднатужиться, дабы произвести на архипринцессу приятное впечатление... тем не менее ради

блага Короны мы готовы на все, в особенности если... если... хм... хм...

Королевские пальцы многозначительно барабанили по столу, а тон становился фамильярнее. Сомнений быть не могло. Ни много ни мало, а именно *взятки* домогался взяточник в короне за участие в банкете! Внезапно король ни с того ни с сего начал жаловаться, что времена настали тяжелые, что уж и не знаешь, как свести концы с концами... вслед за чем захихикал... захихикал и заговорщически подмигнул государственному канцлеру... подмигнул и опять захихикал... захихикал и ткнул того пальцем под ребро.

В глубочайшем и, казалось, застывшем молчании старец смотрел на монарха, который хихикал, подмигивал и тыкал пальцем под ребро... а молчание старца наливалось молчаньем портретов и молчанием стен. Хихиканье короля захлебнулось... И тут железный старец отвесил королю поклон, а следом склонились головы министров и преклонились колена вице-министров. Сила этого поклона, отвешенного внезапно в уединенном зале, была страшна. Поклон ударил короля прямо в грудь, расправил конечности, вернул в королевский образ — бедный Гнуль аж застонал душераздирающе среди каменных стен и еще раз попытался хихикнуть... но смешок замер у него на губах... В тишине непреклонного молчания король начал бояться... и боялся довольно долго... пока, наконец, не дал деру, спасаясь от совета и от самого себя, и спина его, облаченная в генеральский мундир, скрылась в темноте коридора.

И тогда ужасный и продажный крик: «Я вам заплачу! Заплачу, заплачу вам» — достиг слуха совета.

После ухода короля канцлер без промедления возобновил дискуссию, и вновь молчание овладело советом. Неколебимо управлял молчанием канцлер. Министры вставали и садились. Час проходил за часом. Как поступить, чтобы король, разъяренный отказом во взятке, не выкинул чего-нибудь неподобающего на банкете, как защищать короля от Гнуля и, наконец, какое впечатление произведет этот несчастный, дрянной и постыдный король на чужеземную архипринцессу и наследницу императорского дома, даже если каким-нибудь чудом удастся избежать скандала,— вот вопросы, которые

совет не мог допустить до своего сознания, которые он отторгал, выблевывая в безмолвных конвульсиях среди каменных стен. Министры вставали и садились. Однако, когда в четыре утра совет единодушно подал в отставку, кормчий государственного корабля не принял этого во внимание, зато изрек знаменательные слова:

— Господа, нужно насильно возратить короля королю, короля нужно заточить в короле, упрятать короля в короля нужно...

Действительно, только террором, только усиленным до крайности давлением великолепия, истории, блеска и церемониала еще можно было спасти Корону от компрометации. В подобном духе канцлер отдал распоряжения, и потому банкет, который устроен был на следующий день в зеркальном зале, сверкал, блистал и искрился: из великолепия выросло великолепие, из блеска — блеск, из сияния — сиянье; колокольным звоном возносился банкет в высочайшие и, надо полагать, неземные сферы и области блеска.

Архипринцесса Рената, введенная в зал главным церемониймейстером и гофмаршалом, зажмурила глаза, пораженные гордым и древним блистанием этого архибанкета. Со сдержанной мощью давно ставшие достоянием истории имена теснили священный нимб духовенства, и тот, точно пьяный, скатывался в белизну почтенных увядающих декольте, которые, млея, утопали в эполетах генералов и перевязях того слов, а зеркала бессчетное множество раз повторяли это великолепие. Шум разговоров тонул в аромате духов. Когда король Гнуль вошел в зал и заморгал, ослепленный сверканьем, громкий приветственный возглас тотчас схватил его будто в тиски, а поклон собравшихся не позволил от возгласа уклониться... образовавшиеся же шпалеры вынудили направиться к архипринцессе... которая, раздирая в клочья кружева своего наряда, отказывалась верить собственным глазам. Неужто перед нею король и ее будущий супруг — этот вульгарный купчик с физиономией приказчика и хитрым взглядом мелкого лоточника и тайного вымогателя? Однако — о диво! — неужели это он же, блистательный король, приближающийся к ней между шпалер поклонов? Когда король взял ее за руку, она содрогнулась от омерзения, но в ту же секунду гром пушек и звон колоколов исторгли из ее гру-

ди восхищенный вздох. Канцлер тоже вздохнул — с облегчением, и его вздох был повторен и умножен вздохом совета.

Положив свою королевскую, священную и метафизическую ладонь на эфес шпаги, король другую, всевластную и чудодейственную длань подал архипринцессе Ренате и повел ее к пиршественному столу. Следом с шарканьем ног и сверканием эполет и аксельбантов вели своих дам гости.

Но что это? Что за звук — негромкий, маленький, дробный, едва слышный, но несомненно предательский — достиг ушей канцлера, а также ушей совета? Не подводит ли их слух — или действительно раздался такой звук, будто кто-то в сторонке... будто кто-то в сторонке... брэнчал... брэнчал монетами... медяками позвякивал в кармане?... Что бы это могло быть? Суровый холодный взор исторического старца обежал присутствующих и в конце концов остановился на одном из послов. Ни единый мускул не дрогнул на лице посла; представитель враждебной державы с чуть заметной иронической усмешкой на тонких губах вел к столу княгиню Византию, дочь маркиза Фрюля... однако вновь послышался предательский, тихий, но чрезвычайно опасный звук... и предчувствие измены, низкой подлой измены, предчувствие коварного тайного заговора закралось в драматическую и историческую душу великого политика. Неужто — заговор? Неужто — измена?

Повторный призыв труб возвестил о начале пиршества. Подчиняясь безоговорочному приказу, Гнуль поместил свой простецкий зад на самый краешек королевского седалища, и, едва он сел, стало расслаживаться все общество. Садись, садись, садись министры и генералы, придворные и отцы церкви. Король протянул свою длань к вилке, взял вилку, поднес ко рту кусок жаркого, и в то же мгновение двор, генералитет и духовенство поднесли куски ко рту, а зеркала повторили это действие бесчисленное множество раз. Гнуль в страхе перестал есть, но тогда собравшиеся, все как один, перестали есть тоже, и акт неедения мощью своей превзошел даже акт еденья... Гнуль тогда, чтобы поскорей положить этому конец, приблизил к губам кубок, и тотчас все приблизили кубки к губам в громком, тысячекратном тосте, который прогремел и повис в воздухе... покуда Гнуль не оторвал поспешно кубка от уст. Но тогда и они оторвали.

Король опять присосался к чарке. Опять грянул тост. Гнуль отставил кубок, но, видя, что и все прочие отставляют, вновь поднял свой, и вновь общество, поднявши кубки, вознесло глоток короля в горние выси под громовое пенье труб, в сиянии канделябров, многократно умноженном древними зеркалами. Испуганный король снова отхлебнул глоток.

И еще раз предательский звук — тихое, едва слышное звяканье, характерное бречанье мелочи в кармане — достиг ушей канцлера и совета. Почтенный старец вновь устремил пронизательный и мертвый взгляд на стереотипную физиономию враждебного посла... и вновь, еще более явственно, раздался предательский звук. Теперь уже сомнений не оставалось: кто-то, заинтересованный в том, чтобы скомпрометировать короля и банкет, таким вот нелегальным способом пытается ввести в соблазн болезненную алчность монарха. Предательское бречанье прозвучало еще раз и столь отчетливо, что было Гнулем услышано, и змий вождения выполз на его вульгарную рожу старьевщика.

Позор! Позор! Ужас! Столь оголтело низменной была душа короля, столь пошло ограниченной, что не больших денег он жаждал, нет, именно мелкие, грошовые суммы способны были повергнуть его на самое дно преисподней. О, чудовищность этого казуса заключалась в том, что даже взятки привлекали короля меньше, чем чаевые, — чаевые были для него что чужой каравай! Весь зал замер в немом ожидании. Услышав знакомый сладостный звук, король Гнуль отставил кубок и, позабыв обо всем на свете, в беспредельной глупости своей... незаметно облизнулся... Незаметно! Так ему казалось! Облиз короля разорвался как бомба на глазах у всего зардевшегося от стыда банкета.

Архипринцесса Рената Аделаида издала сдавленный вскрик омерзения. Взоры правительства, двора, генералитета и духовенства обратились на старца, который долгие годы держал бразды правления в своих натруженных ладонях. Что делать? Как поступить?

И тогда все увидели, как из побелевших уст исторического мужа героически, медленно высовывается узкий старческий язык. Канцлер облизнулся! Облизнулся первый после короля человек в государстве!

Минуто еще совет боролся с оцепенением, но мало-помалу

стали высовываться языки министров, а следом языки епископов... языки графинь и маркграфинь... и все, от одного конца стола до другого, облизнулись в таинственном сверкании хрусталя, а зеркала повторили этот акт бессчетное количество раз, погружая его в зеркальные перспективы.

Тогда разъяренный король, видя, что ничего не может себе позволить, ибо всякое его действие будет повторено, резко отодвинул стол и встал. Но встал и канцлер. А за ним встали все.

Да, канцлер больше не колебался, он уже принял решение, неслыханная смелость которого в пух и прах разбивала этикет! Понимая, что теперь уже никоим образом не удастся скрыть от Ренаты подлинную сущность короля, канцлер решил открыто бросить банкет в бой за достоинство Короны. Да, иного выхода не было — банкету предстояло со всей беспощадностью повторить не только те действия короля, которые повторения заслуживали, но и *те — и прежде всего те!* — *которые повторять не приличествовало* — лишь таким способом возможно было превратить эти поступки в архипоступки — и насилие над особой короля стало неизбежной необходимостью. Поэтому, когда разъяренный Гнуль грохнул кулаком по столу, расколотив две тарелки, канцлер ничтоже сумняшеся тоже разбил две, и по две тарелки разбили все остальные, будто во славу Бога; а трубы запели! Банкет побеждал короля! Связанный по рукам и ногам король сел и сидел как мышь, а банкет, затаившись, только и ждал малейшего его движения. Нечто невероятное — нечто фантастическое — рождалось и умирало в атмосфере прерванного пира.

Король вскочил со своего места во главе стола! Банкет тоже вскочил! Король сделал несколько шагов. Высокие гости тоже. Король начал бесцельно кружить по залу. Гости тоже стали кружить. И кружение в своем монотонном и бесконечном кружении достигло таких высот архикружения, что Гнуль, сраженный внезапным головокружением, взревел — с налившимися кровью глазами бросился на архипринцессу — и, не зная, что делать, принялся постепенно душить ее на виду у всего двора!

Ни секунды не колеблясь, кормчий государственного корабля бросился на первую попавшуюся даму и стал ду-

шить — прочие гости последовали его примеру — архидушенье, повторенное мириадами зеркал, изливалось из их нескончаемых глубин и ширилось, ширилось, росло, пока с последним хрипом не вышел вон дух из дам... Так банкет оборвал последние нити, связывавшие его с нормальным миром,— и пустился во все тяжкие!

Осела на землю архиприцесса — бездыханная. Осели удушенные дамы. И недвижье, безобразное недвижье, умноженное зеркалами, онемелое, начало расти и расти...

И росло. Росло как на дрожжах. И крепло, крепло в океанах тишины, в беспредельности молчания, и овладевало пространством — само архинедвижье, которое, низойдя, воцарилось и царствовало... и владычество его было безраздельным...

Тогда король обратился в бегство.

Взмахнув руками, Гнуль в паническом ужасе хлопнул себя по ляжкам и, недолго думая, пустился наутек... кинулся к двери, лишь бы подальше от этой Архимонархии. Собравшиеся увидели, что король дал деру... еще минута, и король убежит! И смотрели в оцепенении, ибо нельзя было остановить короля... Кто б посмел силой остановить монарха? — За ним! — заревел старец. — За ним!

Прохладное дуновение ночи оваяло щеки сановников, когда они выбежали на площадь перед замком. Король убежал серединою улицы, а следом, в двух десятках шагов от него, мчался канцлер, мчались банкет и бал. Архигений древнего архиполитика вновь проявился во всей своей архисиле: **ПОЗОРНОЕ БЕГСТВО КОРОЛЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АТАКУ**, и уже неизвестно, то ли **КОРОЛЬ УДИРАЕТ**, то ли **КОРОЛЬ МЧИТСЯ В ПРОСТРАНСТВО ВО ГЛАВЕ БАНКЕТА!** О, неудержимо летящие, шелестящие на бегу ленты и регалии послов, сутаны епископов, министерские фраки и бальные платья, о, аллюр, архиаллюр толпы вельмож! Никогда ничего подобного не видывали глаза простонародья. Магнаты, владельцы огромных земельных угодий, потомки знатнейших родов неслись бок о бок с офицерами генштаба, чей галоп смыкался с галопом всемогущих министров, с иноходью маршалов, камергеров, с трусцой вошедших в раж прекраснейших придворных дам! О карьер, архикарьер маршалов, галоп министров, рысца послов в

сумраке ночи, в свете фонарей, под сводом небес! Грянули орудия в замке. И король ринулся в атаку!

— Вперед! — воскликнул он.— Вперед!

И, возглавив армию своего архивоинства, архимонарх врезался в сумрак ночи!

Содержание

- 5 От редакции
- 6 Плясун адвоката Крайковского. *Перевод В. Климовского*
- 17 Записки Стефана Чарнецкого. *Перевод В. Климовского*
- 32 Преднамеренное убийство. *Перевод В. Климовского*
- 62 Пиршество у графини Котлубай. *Перевод В. Климовского*
- 83 Приключения. *Перевод В. Климовского*
- 100 На бриге «Бэнбери». *Перевод В. Климовского*
- 138 Непорочность. *Перевод В. Климовского*
- 151 На черной лестнице. *Перевод В. Климовского*
- 169 Крыса. *Перевод К. Старосельской*
- 181 Банкет. *Перевод К. Старосельской*

Гомбрович В.

Г64 Преднамеренное убийство: Рассказы/Пер. с польск. В. Климовского и К. Старосельской. — М.: Известия, 1991. — 192 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Рассказы, вошедшие в сборник «Преднамеренное убийство», написаны в разные годы. Некоторые из них входили в дебютный сборник «Дневник времен возмужания» (1933), рассказы «Крыса» и «Банкет» появились в 1937—38 гг. Книга «Преднамеренное убийство» включает практически всю новеллистику Гомбровича.

Г $\frac{4703010100-005}{074(02)-91}$ 128-91

**ББК 84.4П
И (Пол)**

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Н. Воронцова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1742

Сдано в набор 05.11.90. Подписано в печать 08.08.91. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип-Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 8,1. Уч.-изд. л. 9,29. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1511. Цена 3 р.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» при Государственном комитете СССР по печати
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Витольд Гомбрович /1904—1969/ — всемирно известный польский писатель. Война застала В. Гомбровича за пределами Польши, и всю оставшуюся жизнь он прожил вне родины. Из его творческого наследия наиболее известны «Дневник времен возмужания» /1933/, повесть «Фердидурка» /1937/, пьеса «Ивонна, принцесса Бургундская» /1938/, роман «Транс-Атлантик» /1953/, драма «Венчание» /1953/, «Дневник» /1953—1956, 1957—1961,

1961—1966/, роман «Космос» /1965/, пьеса «Оперетка» /1966/.

В Польше не так давно издано собрание сочинений писателя, которое уже стало библиографической редкостью.

